

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ



СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1963

Редакционная коллегия:

**В. Д. КОРОЛЮК (отв. ред.), М. А. БИРМАН (отв. секр.),
Г. К. ВЕНЕДИКТОВ, А. И. ВИНОГРАДОВА, В. И. ЗЛЫДНЕВ,
В. М. ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ, А. Х. КЛЕВАНСКИЙ,
И. И. КОСТЮШКО, А. П. СОЛОВЬЕВА**

А. А. Зализняк

О ХАРАКТЕРЕ ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА МЕЖДУ СЛАВЯНСКИМИ И СКИФО-САРМАТСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ

В течение по меньшей мере тысячи лет территорию Северного Причерноморья населяли ираноязычные племена. В VII в. до н. э. скифы изгоняют с этой территории киммерийцев; в IV—II вв. до н. э. скифов теснят с востока родственные им сарматы; скифо-сарматское население сохраняется здесь до нашествия гуннов (IV в. н. э.) и начала великого переселения народов. Гораздо дольше остаются иранцы (а именно аланы — одно из самых сильных сарматских племен) на Северном Кавказе и на территории между нижним Доном и Уралом.

С некоторого времени одними из северных соседей скифов становятся славяне. Определение этого момента весьма затруднительно; оно непосредственно связано с принятием той или иной локализации прародины славян. Чем дальше к северо-западу будет отнесена прародина славян, тем позже следует датировать начало славяно-скифского контакта. Можно думать, однако, что он начался не позже третьей четверти I тысячелетия до н. э.

Особый вопрос составляют возможные славяно-арийские (или скорее балто-славяно-арийские) контакты, более ранние, чем славяно-скифский. Действительно, скифы были, по-видимому, не первыми арийцами, жившими на территории Северного Причерноморья. Оба вероятных пути передвижения арийцев в Северную Индию (через Кавказ и через Среднюю Азию) имеют в качестве исходной точки территорию вблизи Черного моря. Однако между скифской эпохой и временем пребывания арийцев (а возможно также предков других индоевропейских народов) в районе Черного моря — огромный хронологический разрыв, и можно лишь строить предположения о непрерывности пребывания арийцев в Причерноморье. Так, мы ничего не знаем о языковой принадлежности киммерийцев — непосредственных предшественников скифов, хотя отождествление их со скифами во многих древневосточных памятниках (ср. равенство др.-перс. *saka* 'скифы', 'Скифия' = аккад. *gimirri* в трехязычных надписях Дария I), быть может, говорит о близости этих племен. Таким образом, говоря о контактах, более ранних, чем славяно-скифский, мы можем, по существу, иметь в виду только балто-славяно-арийскую близость в пределах общиндоевропейского диалектного единства; предположение о непрерывающемся контакте между предками славян и иранцев было бы совершенно произвольным.

По вопросу об интенсивности языковых контактов между славянскими и скифо-сарматскими племенами и об их последствиях для каж-

дого из языков существуют значительные расхождения¹. Для многих фактов мы находим у разных авторов весьма различные объяснения. Так, одно и то же славяно-иранское сходжение может толковаться как древняя индоевропейская изоглосса, как результат славяно-скифского сближения («конвергенция значений», «семантическое заимствование»), как прямое заимствование (обычно из иранского в славянский), как заимствование через посредствующий язык и т. д. Очевидно для правильной оценки каждого из таких предположений (в особенности, когда речь идет о сближении значений, о кальках и тому подобных явлениях, возникающих в двуязычной пограничной зоне) необходимо прежде всего иметь ясное представление об общем характере рассматриваемого языкового контакта и в первую очередь — о степени сходства контактирующих языков, о возможности прямого взаимопонимания, о возможности осознания говорящими регулярных фонетических и иных соответствий между их языками. Между тем этот круг вопросов в работах, посвященных славяно-иранским языковым отношениям, почти не рассматривается².

В настоящей работе мы пытаемся восполнить этот пробел и обрисовать, насколько это возможно, общий характер предполагаемого славяно-иранского языкового контакта, исходя из сопоставления известных нам фонетических, лексических и грамматических черт славянского и скифо-сарматского языков той эпохи. Разумеется, полученная картина будет заведомо неполной, поскольку весьма неполны наши сведения о столь отдаленных периодах развития каждого из сопоставляемых языков. Действительно, все, что мы знаем о славянском языке второй половины I тысячелетия до н. э., основано на реконструкции, причем хронологический разрыв между рассматриваемым периодом и первыми письменными памятниками очень велик (около полутора тысяч лет). Наши сведения о языке скифов и сарматов частью основаны на анализе скифской ономастики, дошедшей до нас в греческой записи, частью являются результатом реконструкции на основе данных, с одной стороны, осетинского языка, с другой стороны, «классических» древнеиранских языков — авестийского и древнеперсидского³. В целом реконструкция скифского⁴ языка оказывается весьма бедной, если подходить к ней с внутрииранской точки зрения, т. е. если иметь в виду прежде всего отличия скифского языка от других иранских; если же подходить к нему с «внешней» точки зрения — как к одному из древнеиранских языков, экстраполируя на него важнейшие особенности других древнеиранских, мы получим гораздо более полную, хотя и несколько менее надежную картину. В нашем сопоставлении скифского языка со славянским мы, разумеется, рассматриваем скифский именно со второй точки зрения.

Трудность совсем иного рода, усложняющая наше сопоставление, заключается в отсутствии выработанных принципов оценки степени

¹ См.: А. А. Зализняк. Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода. — ВСЯ, № 6, 1962, стр. 28—45.

² Несколько интересных замечаний содержит работа В. Пизани: V. Pisani. Slavo e iranico. — «Atti del III Congresso Internazionale dei Linguisti (Roma, sett. 1933)», Firenze, 1935, стр. 371—379. В. Пизани предполагает, что славяно-скифский контакт был сходен с франко-итальянским: взаимопонимание невозможно, но двуязычные индивидуумы быстро схватывают (intuiscono) фонетическое соответствие.

³ Здесь и ниже мы основываемся прежде всего на работе В. И. Абаева «Скифо-аланские этюды» (в кн. «Осетинский язык и фольклор». М.—Л., 1949).

⁴ О термине «скифский» язык (в частности, вместо громоздкого «скифо-сарматский») см. В. И. Абаев. Указ. соч., стр. 147—149.

различия между языками и определения условий взаимопонимания⁵; необходимость выработки таких критериев ощущается в особенности в тех случаях, когда речь идет о близкородственных языках. Несомненно, что между степенью близости языков и характером их взаимодействия имеется непосредственная связь, но для определения точного характера этой связи необходима статистическая обработка большого числа случаев языкового контакта; только такая предварительная работа позволила бы избежать некоторых «кустарных» решений, неизбежных в настоящее время.

Не преуменьшая значения указанных трудностей, мы считаем все же, что они не обесценивают наше сопоставление в целом; даже результаты, касающиеся сравнительно узкой сферы надежно установленных фактов, могут быть весьма показательными.

За длительный период, в течение которого мог осуществляться славяно-скифский языковой контакт, облик каждого из сопоставляемых языков, разумеется, не оставался неизменным. В нашем разборе мы исходим из наиболее древней фазы контакта, когда близость между сопоставляемыми языками была наибольшей. Ниже мы последовательно сопоставляем фонетические, грамматические и лексические факты славянского и скифского языков.

ФОНЕТИКА

Для праславянского языка середины I тысячелетия до н. э. следует, по-видимому, предполагать совершившимися изменения, общие для балтийского и славянского, и, кроме того, первую палатализацию, начало изменения согласных в сочетании с *j* (не приводящее еще, однако, к фонологическим изменениям), переход *o*, *u*, *ā* в *e*, *i*, *ī* после *j* и *e* в *a* после шипящих⁶. Переход *i*, *u*, *ā* в *ь*, *ъ*, *ŭ* следует, по-видимому, отнести к более позднему времени. Неясным остается вопрос об и.-е. **a* и **ō*: действительно ли они полностью совпали во всех положениях и можно ли относить это совпадение к столь раннему времени; однако за отсутствием убедительных позитивных доказательств того, что они различались, мы будем придерживаться более традиционной точки зрения о их раннем слиянии. Заведомо к более позднему периоду относятся все явления, связанные с «законом открытых слогов».

Фонетический облик языка скифо-сарматских племен этой эпохи был, по-видимому, близок к общеиранскому. Праиранские **ǝ*, **ǝ*⁷ (из индоевропейских палатализованных заднеязычных) представлены здесь как *s*, *z*, т. е. так же, как и в остальной части иранского мира, за исключением древнеперсидского, где мы находим *θ* и *d*. Специфическим является отражение общеиранского *ɣ* как *ar*. Появление *l*, отсутствующего в общеиранском, из *r* в положении перед *y* и *i* относится, по-видимому, к более позднему времени.

⁵ О необходимости выработки «общих канонов сравнительного описания» см. U. Weinreich. *Languages in Contact*. N.-Y., 1953, стр. 2. Существующие работы по этим вопросам весьма немногочисленны; укажем, в частности, C. Voegelin and Z. Harris. *Methods for determining intelligibility among dialects of natural languages*. — «Proceedings of the American Philosophical Society», vol. 95, 1951, стр. 322—329; D. Reed and J. Spicer. *Correlation methods of comparing idiolects in a transitional area*. — «Language», vol. 28, 1952, стр. 348—359.

⁶ См. С. Б. Бернштейн. *Очерк сравнительной грамматики славянских языков*. М., 1961, стр. 154—176.

⁷ По Г. Моргенштерне: см. G. Morgenstierne. *The development of Indo-European consonantism in Iranian*. — NTS, Bd. XII, 1942, стр. 79—82.

Таким образом, фонетический состав сопоставляемых языков, вероятно, имел следующий вид:

Гласные

славянский					скифский				
i	u	ī	ū		i	u	ī	ū	
o			ā		a			ā	
ei, oi, ou					ai, au				

Вопрос о степени лабиализации праславянской фонемы, обозначаемой как *o*, как известно, является предметом дискуссий. По-видимому, в системе такого вида нет фонологических оснований для сильной лабиализации этой фонемы. Действительно, поскольку в системе нет фонемы, отличающейся от *o* только по признаку лабиализации, случайные колебания между реализациями типа [o], типа [ā] и даже типа [a] ничем не будут сдерживаться. Необходимость в сильной лабиализации возникает только после ликвидации противопоставлений по долготе (когда пара *o* — *a* различается уже только по одному признаку), то есть значительно позднее. Приведенное рассуждение имеет силу и в том случае, если считать исходной реализацию [a]; таким образом, запись этой фонемы в виде *a* (ср., в частности, работы Ф. Мареша) со структурной точки зрения не дает никаких преимуществ, а для диахронических описаний оказывается менее экономной.

Мы предполагаем, что для рассматриваемого периода еще необходимо различать скифские *i* и *ī*, *u* и *ū*, хотя в дальнейшем различие по долготе здесь стирается⁸.

Сонанты в вокалической функции были, по-видимому, уже утрачены в обоих сопоставляемых языках, поскольку в славянском они дали сочетания типа *ur*, *ir* и т. д., а в скифском единственный слоговой сонант *ɣ* дал *ar*.

Согласные

славянский								скифский							
p	t	č	š	k	x			p	f	θ	s	č	š	k	x
b	d	z	ž	g	—			b	—	d	z	j	ž	g	—
m	n							m	n						
v	ɣ	l	j					w	ɣ				y		

В системе славянских согласных, возможно, было представлено *ɣ*, а не *ž*: мы не знаем, насколько долго просуществовал звук, переходный между *g* и заменяющим его после первой палатализации *ž*. В любом случае различие между звонкой шипящей аффрикатой и звонким шипящим фриктивом было избыточным (в отличие от соответствующей глухой пары). Мы не отмечаем в нашей записи фонетическую мягкость *č*, *š*, *ž*, как не имеющую фонологического значения. Вопрос о том, в каких позициях могло выступать *x* и какой степенью фонологической самостоятельности оно обладало, неясен.

Как видно из схем, по своему фонетическому составу славянский и скифский языки были относительно близки. Сравнение фонологических систем дает возможность установить, как должны были восприниматься на слух славянские слова скифами и скифские славянами.

Среди гласных фонемы разных систем, одинаково обозначенные в нашей записи, при контакте должны были отождествляться. Иранское *a*, несомненно, воспринималось славянами, как тождественное славянской фонеме [o] (ср. замечания выше); как известно, такое со-

⁸ В. И. Абаев (указ. соч., стр. 203) считает возможным не учитывать в этом случае различия по долготе уже для «общескифского».

ответствие широко представлено в более поздних заимствованиях из греческого и германского. Таким образом, по своему вокализму иранские слова не представляли трудностей для славянского восприятия. Так, например, скифские *panti-* 'путь', *arma-* 'рука', *sata-* 'сто', *bratar*, *brata* 'брат' должны были восприниматься славянами как [ponti-], [ormo-], [soto-], [brātor, brātā].

Для иранского восприятия славянские гласные представляли несколько большие трудности. Эквивалентность славянского *o* иранскому *a* и в данном случае несомненна; более затруднительным было восприятие славянских *e*, *ž*, *ei*. Славянское *e* могло восприниматься иранцами либо как искаженное *a*, либо как искаженное *i*; однако значительно более вероятной является эквивалентность славянского *e* иранскому *a*. Действительно, с фонологической точки зрения невероятно, чтобы в славянской подсистеме кратких гласных *e* было закрытым: наличие *i* и отсутствие *æ* должно было благоприятствовать колебаниям *e* в сторону более открытого произношения. С другой стороны, возможно, что в самом скифском уже намечался сдвиг *a* в сторону *æ*, который позднее полностью осуществился в осетинском (как, впрочем, и во многих других частях иранского мира)⁹. Аналогичным образом славянское *ei*, по-видимому, должно было восприниматься как *ai*. Вопрос о восприятии славянского *e* сложен; может быть, оно отождествлялось с иранским *a*, но можно предполагать также, что оно казалось иранцам более сходным с *ai* (начало общеиранской тенденции к взаимной ассимиляции элементов дифтонга, конечным результатом которой впоследствии явилась монофтонгизация, относится, по-видимому, к древнеиранскому периоду, ср. отражения общеиранских дифтонгов в Авесте). Таким образом, например, славянские **panti-* 'путь', **mozgo-* 'мозг', **berza* 'береза', **četa* 'чета'¹⁰ должны были восприниматься иранцами как [panti-], [mazga-], [barzā], [čatā].

В системе иранских согласных определенную трудность для славянского восприятия должны были представлять фрикативы *f* и *θ*; они воспринимались, по-видимому, как искаженные взрывные *p*, *t* (ср. аналогичную передачу греческих *φ*, *θ* в более поздних заимствованиях из греческого). Иранские *j* и *ž* должны были восприниматься одинаково как *ž* (или *j*, если переход *j* > *ž* еще не осуществился), иранские *x* и *h* — одинаково как *x*. Несомненна также эквивалентность иранского *w* славянскому *v*, несмотря на вероятное различие артикуляций. Прочие иранские согласные легко отождествлялись с соответствующими славянскими. Таким образом, например, иранские *baga-* 'бог', *faina-* 'пена', *hvara-* (или *xvara-*) 'рана' должны были восприниматься как [bogo-], [poino-], [xvogo-].

Для скифов восприятие славянского консонантизма почти не представляло трудностей. Только *l* было для иранцев чуждой фонемой и до появления в самом скифском *l* из *g*, *gy* должно было заменяться звуком *g*. Таким образом, например, славянские **gosti-* 'гость', **zem-* 'земля', **vilko-* 'волк', **louče-* 'луч' должны были восприниматься иранцами как [gasti-], [zam-], [virka-], [rauča-].

⁹ Ср. В. И. Абаев. Указ. соч., стр. 203. Заметим лишь, что смещение артикуляции *a* не могло быть слишком большим, поскольку иначе нарушилась бы хорошо засвидетельствованная (ср. слав. **topor-* из иран. **tapar-*, **parat-*) эквивалентность иранского *a* славянскому *o*.

¹⁰ Здесь и далее праславянские (для краткости называемые просто славянскими) формы реконструируются в том виде, который они должны были иметь в рассматриваемый период. Там, где такая реконструкция затруднительна, мы приводим исторически засвидетельствованные формы.

Некоторые особенности восприятия звуков чужого языка обусловлены также различием в сочетаемости фонем. Так, например, славянское **žena* 'жена' должно было восприниматься иранцами как [*jana*], а не как [*žana*], даже если взрывной элемент в славянском полностью утратился. Действительно, хотя в иранском была фонема *ž*, она никогда не выступала в начале слова перед гласной. Аналогичным образом иранские сочетания *ča*, *ja* должны были передаваться славянскими сочетаниями [*če*], [*že*], а не [*čo*], [*zo*], так как последние в славянском невозможны. Здесь нет необходимости подробно разбирать все случаи такого рода.

Помимо различий в фонемном составе, между сопоставляемыми языками были также различия по характеру ударения и положению его в слове. Кроме того, в славянском к этому времени уже сформировалась система фонологически значимых интонационных противопоставлений, тогда как в иранском системы интонаций, по-видимому, не было. Однако в данной области весьма затруднительно провести сколько-нибудь надежное сопоставление; можно лишь предполагать, что при отсутствии редукции безударных гласных разное положение в слове и разный характер ударения не служили существенным препятствием для опознавания иноязычного слова.

Сопоставление фонологических систем славянского и скифского языков показывает, что в большинстве случаев отношение фонологической эквивалентности наблюдается между генетически тождественными звуками: так, эквивалентные друг другу славянское *p* и иранское *p*, *f*, славянское *ž* и иранское *j* и т. д. обычно имеют одинаковое происхождение. Отношения такого рода весьма характерны для близко родственных языков; так, польское [*ź*], например, в слове *zima*, воспринимается русским как необычно произнесенное [*z'*]; в то же время эти две фонемы генетически тождественны (ср. русское *зима*); точно так же сербское [*h*], генетически тождественное русскому [*č'*], при восприятии на слух отождествляется русскими именно с [*č'*].

С исторической точки зрения многочисленность таких совпадений между славянским и иранским объясняется заметным сходством предшествующего фонетического и фонологического развития этих языков. В части случаев сходство фонетических процессов, по-видимому, объясняется диалектной близостью славянского и иранского внутри индоевропейской языковой области; сюда можно отнести: 1) изменение индоевропейских (или восточноиндоевропейских) палатализованных заднеязычных в сибиллянты свистящего типа; 2) совпадение *o* и *a*, *ō* и *a*; в индоевропейском, как известно, этот процесс захватил также *e*, *ē*, однако возможно, что переход *ē* в *ā* в индоиранском произошел сравнительно поздно, поскольку древнее *ē* еще палатализовало заднеязычные; возможно также, что совпадение долгих *ō* и *ā* в славянском представляло собой независимый процесс (ср. замечание на стр. 5); 3) падение срединного шва (и.-е.**ə*); 4) переход *s* в *x* после *ī*, *ā*, *r*, *k* в славянском, переход *s* в *š* после *i*, *ā*, *r*, *k* и в *h* в большинстве прочих положений в иранском; 5) совпадение сибиллянтов, происходящих из палатализованных заднеязычных, с сохранившимися древними *s* и *z*. В других случаях сходные фонетические процессы происходили в иранских и славянских языках вполне независимо и в разное время; сюда относятся: 1) совпадение двух рядов индоевропейских взрывных — звонких и так называемых звонких придыхательных; в иранском этот процесс происходил, по-видимому, в относительно более позднее время; 2) палатализация заднеязычных перед передними гласными, в результате которой появляются шипящие аффрикаты (в славянском также фри-

катив *š*); в славянском это относительно поздний процесс, в индоиранском — весьма древний. В ряде случаев сходство между славянскими и иранскими словами усиливается также славянским переходом *ě* в *a* после шипящих, никак не связанным с индоиранским переходом *ē* в *ā*.

Приведенные выше ряды примеров показывают, что во многих случаях естественный фонологический «пересчет» иноязычного слова на фонемы собственного языка должен был давать в рассматриваемой ситуации результат, не отличающийся или мало отличающийся от слова с тем же значением в родном языке слушателя, ср. слав. **p-o-n-t-i* = иран. **p-a-n-t-i*, слав. **n-o-v-o* = иран. **n-a-w-a* и т. д. Такие слова, разумеется, легко распознавались в чужой речи как понятные, как свои собственные, произнесенные «с акцентом». В качестве современных аналогов такого рода соответствиям можно привести уже упоминавшееся польское *zima* или сербское *svěha*: русский воспринимает их как слегка искаженные *зима*, *свеча*.

В других случаях фонемный состав чужого слова не совпадает полностью с составом соответствующего родного, но имеющееся различие повторяется в большом числе других пар слов и потому легко может быть осознано как регулярное. «Между генетически связанными системами, — пишет У. Вейнрейх, — часто наблюдается особый тип отношения, который может быть определен как автоматическая формула перехода („automatic conversion formula“)»¹¹. По-видимому, именно такая формула должна была складываться у славян, например, на основании многочисленных соотношений типа иран. *barz-* — слав. *berz-*, иран. *mātar-* — слав. *māter-*, иран. *mana-* — слав. *tene* и т. д.¹² Современным аналогом здесь может служить, например, формула перехода от польского к русскому в таких случаях, как *piec* — *печь*, *noc* — *ночь*, *móc* — *мочь*, *świeca* — *свеча* и т. д. Понятно, что число формул такого рода и степень их осознания зависит как от регулярности самих соответствий, так и от общего объема родственной лексики.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ

При сопоставлении грамматического строя славянских и скифских языков мы неизбежно вынуждены ограничиться лишь самыми общими наблюдениями, поскольку о грамматическом строе скифского языка мы почти не имеем достоверных сведений.

Несомненно, что в рассматриваемый период славянский язык обладал богатой флексией. Система склонения в общем сравнительно мало отличалась от засвидетельствованной древнейшими памятниками; объединение местоимения **jo-* с формами прилагательных, по-видимому, относится к более позднему времени. Многие флексии склонения могут быть восстановлены достаточно надежно. Что касается спряжения, то здесь можно допустить гораздо большие отличия от исторически засвидетельствованной системы; возможно, еще не оформились полностью различные сигматические образования. Лишь часть флексий спряжения может быть восстановлена с достаточной надежностью.

¹¹ U. Weinreich. Указ. соч., стр. 2.

¹² Заметим, что эквивалентность фонем и отсюда — фонологическая эквивалентность слов имеют «направленность», она не всегда обратима. Так, иран. **panti-* эквивалентно слав. **ponti-* как с точки зрения славянина, так и с точки зрения иранца. Иначе соотносятся славянский корень *berz-* и иранский *barz-* 'береза': иранец воспринимает славянское *berz-* как эквивалентное собственному *barz-* (см. выше), славянин же воспринимает иранское *barz-* как эквивалентное сочетанию [borz-], отличному от славянского названия березы. Для иранца здесь полная эквивалентность, для славянина — сходство, требующее формулы перехода.

Скифский язык середины I тысячелетия до н. э., вероятно, еще сохранял основные структурные черты древнеиранских языков, т. е. богатую систему склонения с четким выделением ряда типов склонения в зависимости от конечного элемента основы и систему спряжения, построенную на противопоставлении нескольких основ и выражающую синтетическим способом сложные видо-временные, залоговые и модальные отношения. Однако в скифском языке довольно рано наметились какие-то черты, приведшие впоследствии к перестройке системы; так, по-видимому, наряду с обычным множественным числом, все шире употреблялась коллективная форма с элементом *-ta*, превратившимся впоследствии в единственный показатель множественности; как известно, тенденции такого рода прослеживаются и в «классических» древнеиранских языках, ср. совпадение дательного и родительного падежей в древнеперсидском. Надежное восстановление флексий спряжения (на основании данных осетинского языка и других древнеиранских) возможно лишь в немногих случаях. Надежное восстановление флексий склонения почти невозможно.

Таким образом, с типологической точки зрения праславянский и скифский языки рассматриваемого периода принадлежали к языкам одинакового строя. Система склонения была в целом сходной; славянские падежи по своему числу и общему значению хорошо соответствовали иранским. В обоих языках имелись грамматические роды: мужской, женский и средний. Различались одни и те же типы словообразовательных элементов. В некоторых случаях флексии в соответствующих друг другу иранских и славянских формах совпадали (т. е. оказывались фонологически эквивалентными), но такие случаи были сравнительно редки. Одно из существенных различий определялось тем, что в иранском конечные согласные отпали значительно раньше, чем в славянском. Так, по-видимому, конечное и.-э. **-s*, входившее в состав очень многих флексий, в скифском в большинстве случаев (прежде всего, после *ā*) уже отпало¹³. Аналогичный славянский процесс, вероятно, относится к более позднему времени. С другой стороны, если сравнить, например, флексии склонения в старославянском и авестийском, мы обнаруживаем, что генетически тождественные окончания чаще встречаются в атематических типах склонения; окончания наиболее продуктивного типа — тематического — в основном несводимы друг к другу, так как они формировались в значительной мере независимо в каждом языке. Наконец, флексии в славянском и иранском различались тем, что в косвенных падежах множественного и двойственного числа характерному славянскому элементу *-m* соответствовало иранское *-b-*.

В системе спряжения расхождения были глубже. Сам состав грамматических категорий был здесь неодинаков (ср., в частности, систему залогов). Наибольшая близость наблюдалась в системе настоящего времени; несколько важных флексий здесь практически совпадали. Наиболее характерные типы основ настоящего времени — тематические, с элементом *j* и с элементом *n* — были сходны в обоих языках. Таким образом, в некоторых случаях глагольные формы сопоставляемых языков оказывались точно эквивалентными, например, слав. **zoveti*, **ži-*

¹³ Таково положение в известных нам древнеиранских языках, ср., например, др.-перс. *baga*, ав. *baγō* 'бог' из праиранского **bagas*; нет оснований думать, что скифский был в этом отношении архаичнее; окончание *-s* в греческой передаче скифских имен, разумеется, ни о чем не говорит; угро-финские формы типа мордовского *paγas* 'бог', как уже многими отмечалось, заимствованы раньше рассматриваемого периода, вероятно, еще из общеарийского, а не из иранского.

veti — иран. **zawati*, **jīwati* и т. д. О системах глагольных форм, обозначающих разные оттенки действия в прошлом, мы знаем очень мало: в отношении скифского можно лишь строить догадки, для славянского реконструкция этой части системы, как уже указывалось выше, затруднительна. Можно лишь предполагать, что эти системы были существенно различны. В системе модальных форм, структура которых в сопоставляемых языках была различна (в скифском, судя по данным осетинского, в отличие от славянского, хорошо сохранились древние наклонения: индикатив, императив, оптатив и конъюнктив), мы находим в обоих языках форму одинакового образования — древний оптатив с элементом *-i*; хотя впоследствии эта форма получила в разных языках разное значение (условно-желательное в осетинском, повелительное в славянском), в эпоху славяно-скифского контакта это различие могло быть значительно меньшим. Среди неличных форм важную роль, особенно в иранском, играло причастие на и.-е. **-to-*, **-no-*. Однако в его образовании между славянским и иранским были заметные расхождения: в иранском возобладала форма на *-ta*, присоединяемая к глагольному корню; в славянском мы находим чаще *-no*, чем *-to*, причем в большинстве случаев эти суффиксы присоединяются не непосредственно к корню. Из числа других отглагольных образований сходными были славянский инфинитив на **-tei* (<**-tei*), имя действия на **-enijo-*, **-nijo-*, имя деятеля на **-teljo-* и иранское имя действия на *-ti-*, *-ana-*, имя деятеля на *-tar-*, ср., например, слав. **žītei* 'жить' и ав. *jīti* 'жизнь'.

В словообразовательной системе важное сходство между славянским и иранским состояло в широком использовании суффикса с элементом *-k-*; в частности, для распространения основ прилагательных и для образования многочисленных существительных; сходной является также подвижность этого *-k-*: многие имена могли, почти не меняя значения, употребляться как с этим суффиксом, так и без него.

О синтаксисе мы знаем мало. Можно лишь утверждать, что при столь глубоком типологическом сходстве морфологических систем синтаксическая структура предложения должна быть в целом сходной. Так, например, порядок слов в обоих языках был в общем свободным. Из специальных схождений обычно отмечается сходное (хотя и не в точности одинаковое) использование местоимения **!o-* в качестве связующего элемента между определяющим и определяемым.

ЛЕКСИКА

Поскольку лексика обоих сопоставляемых языков (в особенности скифского) известна весьма неполно, цель наших сопоставлений может заключаться лишь в том, чтобы установить приблизительное соотношение между случаями сходного и несходного выражения наиболее важных понятий. С иранской стороны мы используем, разумеется, не только скифские слова (выявляемые в собственных именах), но также слова родственных иранских языков (прежде всего древнеиранских), считая вероятным существование соответствующего слова в скифском.

В части случаев лексические или семантические сходства между славянским и иранским являются, по-видимому, результатом контакта между этими языками и, следовательно, не должны учитываться при рассмотрении ранней фазы такого контакта.

Важную роль с точки зрения возможности взаимопонимания играет лексика служебного и полуслужебного характера.

Из числа частиц в обоих сопоставляемых языках хорошо сохранились и сходно звучали индоевропейские частицы отрицания **ne* и

**nei*; в иранском мы находим, однако, еще и.-е. **mē* (иран. *ma*). Совпала также усилительная частица: слав. **ba*, *bo* — иран. **ba* (ав. *ba*, осет. *ba* и др.). Возможно, имелись и другие схождения (ср., например, слав. **že*, **go* и др.-инд. *ha*, *gha*).

Важные совпадения имелись в системе приглагольных наречий, превратившихся впоследствии в приставки и предлоги:

слав. **pro* — иран. **pra* (ав., др.-перс. *fra*-);

слав. **per* (ст.-сл. *prě*-, русск. *пере*-) — иран. **pari* (ав. *pairi*, др.-перс. *pariy*, осет. *fæl*-) и иран. **parā* (др.-перс. *parā*); по значению к славянскому ближе последняя форма;

слав. **ob(i)* — иран. **abi* (ав. *aiwi*, др.-перс. *abiy*) и иран. **apa* (ав., др.-перс. *apa*);

слав. **ou* — иран. **awa* (ав., др.-перс. *ava*-); обращает на себя внимание полный семантический параллелизм между ст.-сл. *u-bitī* и т. д. и др.-перс. *ava-jaṇ*- 'убить', где *biti* = *jan*;

слав. *uz* (ст.-сл. *vъz*- и т. д.) — ав. *uz*-, *us*-; ср. др.-перс. *ud*-;

ст.-сл. *nizъ* и т. д. — иран. **ni*, **niḡ* (ав. *ni*-, *niž*-, *niš*-, др.-перс. *ni*-, *niḡ*-);

слав. **kun* (ст.-сл. *kъ*, *kъn* и т. д.) — согд. *ku*, ав. *kqm*.

Незначительно различие между ст.-сл. *proti* и т. д. и иран. **paiti* (ав. *paiti*, др.-перс. *patiy*, осет. *fæ*-). Сходство между ст.-сл. *radi* и т. д. и др.-перс. *radiy*, возможно, вторичного происхождения.

Однако наряду с перечисленными предлогами-приставками имелось также много несходных; не находят прямых соответствий, например, ст.-сл. *vъ*, *vy*, *iz*, *do*, *za*, *na*, *otъ* (*ot*), *po*; древнеиранские *a*, *anu*, *ura*, *vi*. Слав. **sun* (ст.-сл. *sъ*, *sъn*) и иран. **ham* слишком несходны фонетически.

Большое сходство обнаруживается в системе местоимений. Особенно близки славянские и иранские личные местоимения.

Местоимение 'я': слав. именит. **azun*, винит. **men* (< **mēn*), без ударения **me*, родит. **mene*, дат. безударный **moi* — иран. именит. **azam* (из праиранского **aḏam*: ав. *azəm*, осет. *æz*, но др.-перс. *adam*), винит. **mām*, без ударения **mā*, родит. **mana*, дат. безударный **mai*.

Местоимение 'ты': слав. именит. **tū*, винит. **ten*, без ударения **te*, родит. **tebe* (возможно, в рассматриваемый период еще **teve*), дат. **tebei*, **tobei*, без ударения **toi* — иран. именит. **tū* (осет. диг. *du*), **t(u)wam* (ав. *tvəm*, др.-перс. *tuwam*), винит. **twām* (ав. *ṭwqm*, др.-перс. *ṭuvām*), без ударения **twa*, родит. **tawa*, дат. **tabyā* (гат. *taibya*), без ударения **tai*.

Местоимения 'мы', 'вы': славянские основы косвенных падежей **na*-**va*- сходны с иранскими безударными формами **nah*, **wah* (ср. осет. *næ*, *wæ*). Прочие формы не совпадают.

Основы возвратных местоимений различаются отношением «слав. *s* — иран. *h*»: ср. слав. дат. безударный **soi* и ав. *hōi*, др.-перс. энклитическое *šaiy*; слав. **svo*- 'свой' — иран. **hwai*- (*xwai*-). Такое же отношение мы находим в слав. **samo*- — иран. **hama*-.

Совпадают основы следующих указательных местоимений: слав. **ovo*- — иран. **awa*-, слав. **ono*- — иран. **ana*-, слав. **to*- — иран. **ta*-. Сходно построены и одинаковы по значению слав. **e-to*- и иран. **ai-ta*-.

Совпадают основы вопросительных местоимений: слав. **ko*-, **ku*- — иран. **ka*-, **ku*-, слав. **či*- (в **čito*) — иран. **či*- (в ав. -*čit*, др.-перс. -*čiy*, *čiščiy* 'что-либо', осет. диг. *ci* 'что'); ср. также слав. **nei-či*- (ст.-сл. *ničъ*) и ав. *naē-čit* 'ничто'.

Совпадают по форме также слав. *je*- (< **jo*-) и иран. **ya*-, однако одинаковое значение (относительное) они имеют лишь в том случае, если славянское местоимение усилено частицей *že*.

Сходны ст.-сл. *vъsъ* 'весь' и т. д. и ав. *vīspa-*, др.-перс. *visa-* (из праиранского **wiθ-wa-*).

Славянские местоименные наречия с элементом **-de* весьма сходны с иранскими наречиями на **-da*: ср. ст.-сл. *kъde* и ав. *kuda*, ст.-сл. *ide* (*jъde*) и ав. *yada* и др. Определенное внешнее сходство имеют славянские и иранские наречия с элементом *-m-* (в иранском из локатива): ср. ст.-сл. *kamo* 'куда' и ав. *kahmi*, осет. *kæt* 'где'.

Таким образом, в целом в системе местоимений мы находим больше сходных основ, чем различных.

Среди числительных наиболее сходные формы имеют 'два' (иран. **duwa-*), 'три' (иран. **tray-*, **tri-*), 'четыре' (иран. **čatwar-*, **čatur*), 'десять' (иран. **dasa*). Меньшее сходство обнаруживается в числительных 'пять' (иран. **panča*), 'шесть' (иран. **xšwaš*). Сильно различаются числительные «один» (иран. **aiwa-*), 'семь' (иран. **hapta*), 'восемь' (иран. **ašta*), 'девять' (иран. **nawa*), 'двадцать' (иран. **winsati*¹⁴), 'тысяча' (иран. **hazahra-*). Числительное 'сто' звучало в иранском как **sata-*; славянская форма, по-видимому, звучала как **sumto-*, **sunto-*.

Среди порядковых числительных особенно близки были слав. **pirvo-* и иран. **parwa* (ав. *paourva-*, др.-перс. *paruva-*). Если верно, что ст.-сл. *vъtorъ* и т. д. восходит к и.-е. **ptoro-*, то эта форма была сходна с иран. **antara-* 'другой', осет. *ændær*.

Рассмотрим основные случаи сходства и различия полнозначных слов.

Многие имена родства звучали сходно в славянском и в скифском; в нескольких случаях наблюдается даже полная фонетическая эквивалентность. Укажем следующие имена:

слав. **mater-* 'мать' (именит. падеж ед. ч., вероятно, уже не имел конечного *r*) — иран. *mātar-*, именит. падеж *māta* (ав. *mātar-*, осет. диг. *madæ*, ср. скиф. *Máda* — женское имя);

слав. **duktar-* 'дочь' (именит. падеж ед. ч. без *r*) — иран. **duktar-*, именит. падеж **duktā* (ав. *duḡdar-*, *dugədar-*, перс. *duxtār*, осет. диг. *duḡd*);

слав. **bratro-*, *brato-* 'брат' (вероятно, в рассматриваемый период в славянском еще существовала более древняя форма **brāter-*) — иран. **brātar-*, именит. падеж **brātā* (ав. *brātar-*, осет. диг. *ærvadæ*, ср. скиф. *Brádaχos* — мужское имя, букв. 'братец');

слав. **žena-* 'жена' — иран. **jani-* (ав. *jāni-*, перс. *zan*, рушан. *ĵan*);

слав. **vidovā* 'вдова' — иран. **widawā* (ав. *viḡawā-*, осет. *idæx* < **wida-wa-ti-*);

слав. **neptije-* 'племянник' (ст.-сл. *netъjъ* и т. д.) — ав. **naptiya-*.

Ср. также ст.-сл. *děverъ* и т. д. и др.-инд. *devar-*; в древнеиранском не засвидетельствовано.

Ряд других терминов родства обнаруживает меньшее, но все же заметное сходство: ср. ст.-сл. *možъ* 'муж' и т. д. (< **mongju-*) и скиф. **manu-*, осет. *mojnæ*; ст.-сл. *zětъ* 'зять' и т. д. (первоначально основа на *-r*) и ав. *zāmātar-*; ст.-сл. *stryjъ* 'дядя по отцу' и т. д. и ав. *tūirya-*. Слав. **seiro-* 'сирота', 'сирий' тождественно по корню авестийскому *saē-* 'сирота'; авестийское слово, как предполагают, представляет собой отделенную первую часть сложного слова, потерявшую при словосложении свой распространитель (возможно, *-r*, *-ra*).

В нескольких случаях фонетические изменения сделали несходными первоначально одинаковые слова: ср. слав. **svekuro-* 'свекор', **svekrū-*

¹⁴ Здесь и в других случаях, когда общеиранская форма имела варианты (ср. ав. *vīsaīti* без *-n-*), приводится тот вариант, который лег в основу осетинской формы.

‘свекровь’ и иран. **hvasura-*, **hvasrū-* и, в особенности, слав. *sestrā* ‘сестра’ и иран. **hvaḥar-*.

Расходятся славянское и иранское названия отца (заметим, однако, что широко распространенное в самых разных языках слово «детского языка» с корнем *at-*, заменившее древнее название отца в славянском, представлено также в осетинском: *æda* ‘тятя’), сына (иран. **hunu-* рано уступило место слову **putra-*; так, в Авесте *hunu-* обозначает только порождение злых существ) и ряд менее важных терминов.

Имеется много сходных названий частей тела:

слав. **brū-* ‘бровь’ (ст.-сл. *brъvъ* и т. д.) — иран. **brū-* (перс. *abrū*, *barū*, ав. *brvat-*, осет. диг. *ærfug*);

слав. **krū-* ‘кровь’ (ст.-сл. *krъvъ*, словен. *krî*, др.-польск. *kry* и т. д.) — ав. *xrū-* ‘кровоное мясо’;

слав. **mozgo-* ‘мозг’ — иран. **mazga-* (ав. *mazga-* ‘мозг’, ‘костный мозг’; перс. *mağz*, осет. *mağz* ‘костный мозг’);

слав. **ormen-*, **ormo-* ‘плечо’, ‘рука’ — иран. *arma-* ‘рука’ (ав. *arəma-*, скиф. **arma-*, осет. *arm*);

слав. **oustā* (мн. ч. ср. рода) (ст.-сл. *usta* ‘рот’, *ustьna* ‘губа’ и т. д.) — иран. **aušta-* ‘губа’ (ав. *aošta-* ‘верхняя губа’, двойств. ч. ‘губы’, ср. *aoštra-* ‘нижняя губа’, двойств. ч. ‘губы’);

слав. **oušī* двойств. ч. ‘уши’ — ср. ав. *uši*, др.-перс. *ušīy* ‘уши’, ‘понимание’;

слав. **pirsi-* ‘грудь’ (ст.-сл. *prъsъ*, чаще множ. *prъsi*, др.-русс. *пърсь* и т. д.) — иран. **parsu-* (ав. *parəsī*, *pərəsī-* ‘ребро’, сак. *pālsī*, *pālsua* ‘ребро’, скиф. *pars-* в *Παρσάναχος* ‘крепкобокий’, осет. *fars* ‘бок’);

слав. **vilnā* ‘шерсть’ (огласовку даем по балтийской форме) — ср. ав. *varəna-*, сарыкол. *vān* ‘шерсть’;

слав. **volso-* ‘волос’ — иран. **warša-* (ав. *varəsa-*, пехл. *vars*).

Ср. также слав. **grīvā* ‘грива’ — иран. **grīwa* ‘затылок’, ‘шея’ (?) (ср. др.-инд. *grīvā* ‘затылок’, ‘шея’, ав. *grīva* ‘хребет’, ‘горный хребет’, перс. *garīva* ‘холм’).

Меньшее сходство наблюдается в ряде других названий частей тела: слав. **sird-iko-* ‘сердце’ — ав. *zərəd-*, скиф. **zardaya-*, осет. *zərdæ*; слав. **gur-dlo-* ‘горло’ — ав. *gar-*, *garəman-* ‘горло’, согд. *r̥r̥dk*, перс. *gardan*; слав. **noso-* ‘нос’ — иран. **nāh-* (др.-перс. *nah-*, рушан. *nēz*, бартаг. *nōz*, ягноб. *nays*); слав. **kosti-* ‘кость’ — иран. **astī-*, **asta-* (ав. *ast-*, хорезм. *astik*, согд. *’sik*, осет. *æstæg*); ст.-сл. *zadъ* и т. д. — ав. *zadah-* ‘podex’; ст.-сл. *ritь* ‘podex’, ‘nates’ — пехл. *rit* ‘podex’. В славянском и в осетинском мы находим название части тела, произведенное от корня **sta* с элементом **-u-*: болг. *става* ‘сустав’, русск. *сустав*, *остов* (др.-русс. *остаѡъ*) — осет. *astæw* ‘поясница’, ‘талия’. Определенное сходство имеется в славянском и восточноиранском названии языка: в обоих случаях мы находим распространение древней основы на *ū* с помощью элемента *-k-*: ст.-сл. *językъ* и т. д. — ягноб. *živōk*, ишкашим. *žv̥yik*, осет. *ævzag*, ср. ав. *hizū-*, *hizva-*; в западноиранских распространение с помощью *-n-*: др.-перс. *hizan-*, ср.-перс. *izvan*, *zivān*, перс. *zaban*.

В большом числе случаев, однако, мы находим совершенно разные слова. Наиболее важные из них — названия бороды, головы, глаза (индоевропейское название сохраняется в иранском только в реликтовых формах), зуба, живота, кожи, колена, локтя, ноги, пальца, спины, щеки.

Кроме того, некоторые из приведенных выше иранских слов, если и были известны скифам, то, по-видимому, не являлись основным обозначением соответствующего понятия (так, например, для уха обычным скифским названием было **gauša-*).

Ряд сходств обнаруживается в названиях животных:

слав. **bluxa* 'блоха' — иран. **bruša* (афг. *vraža*, *vrāža*);

слав. **gov-* в **gov-endo* 'бык' и др. — иран. **gaw-*;

слав. **mūši-* 'мышь' (возможно, что в рассматриваемый период это слово имело еще основу на согласную) — иран. *mūš-* (перс. *mūš*, осет. *myst*); в обеих группах языков часто встречаются формы с суффиксом *-k-* (ср., например, русск. *мышка* и перс. *mūšak*; ср. также др.-инд. *mūṣika*);

слав. **morvī-*, **morvi* 'муравей' (русск.-церк.-сл. *мрави*, в других языках разнообразные формы) — иран. **marwi-* или **mauri-* (ав. *maoi-ri-*, перс. *mūr*, *mūrca*, осет. *muljug*, *mæljug*);

слав. **vopsa* 'оса' — иран. **wapsa-*, **wabza-* (ав. *vawžaka-* 'дэвовское животное', пехл. *vaβz* 'оса', осет. *ævz*, *æfz* 'пчела' в сложных словах);

слав. **wilko-* 'волк' — иран. **wŋka-* (ав. *vahrka-*, скиф. **warka-*, осет. *wærx-*, *wærg-* в именах собственных);

слав. **ūdra* 'выдра' — иран. **ūdra-* (ав. *udra-*, осет. *wyrd* [диг. *urdæ*]).

Более отдаленное сходство прослеживается в слав. **čirvi-* 'червь' — иран. **kṛmi-* 'червь', 'змея' (осет. *kalm*); слав. **ont-* 'утка' (с различными суффиксами: ст.-сл. *qty*, русск. *утя*, *утка* и т. д.) — вост.-иран. **ati-*, **atika* (сак. *aci* 'водяная птица', вахан. *yčč* 'утка', ясское (аланское) *acca*, осет. *acc* [диг. *accæ*] 'дикая утка'). Слав. **bi-čela* 'пчела' весьма напоминает предполагаемую древнеосетинскую форму *bin-čer*¹⁵ (осет. диг. *binzæ* 'муха', ср. *mudbinzæ* 'пчела'). Можно отметить также ст.-сл. *žeravъ*, *žeravъ* 'журавль' — осет. *zyrnæg* (< **zirana-ka*).

Почти совпадают славянское и иранское названия яйца: слав. **aje-*, **ajiko-* — иран. **āya-*, **āyaka-* (ав. *aya-*, пехл. *hayik*, перс. *xaṣa*, ясское (аланское) *jaika*, осет. диг. *ajkæ*).

Семантическое расхождение между точно соответствующими друг другу по форме слав. **moixō-* 'мех' и иран. **maiša-* 'овца', возможно, было меньше.

Однако многие названия животных, например, названия зайца, козы, курицы, лисы, лошади, свиньи, медведя, собаки, птицы, рыбы, в сопоставляемых языках не совпадают.

Среди названий растений мы находим очень мало сходных:

слав. **berza* 'береза' (вполне вероятно, что в рассматриваемый период в славянском еще была представлена основа на *-o* женского рода) — иран. **bŋza-* (сак. *brañja*, осет. *bærz* [диг. *bærzæ*]);

слав. **loza* 'лоза', 'виноград' — др.-перс. **raza* (по эламской передаче *ra-ša*) 'виноград', 'вино', перс. *raz* 'виноградная лоза'.

Хорошо представлен как в славянских, так и в иранских языках индоевропейский корень **derǵ-*, **dreǵ-* 'дерево' (ст.-сл. *drěvo*, *drěva* — ав. *dauru-*, *dru-* и т. д.).

Ряд сходных слов имеется среди названий основных природных понятий:

слав. **gora* 'гора' — иран. **gari-* (ав. *gairi-*, ягноб. *γar*);

слав. **koupo-* 'купа', 'куча' — иран. **kaufa-* (ав. *kauja-*, перс. *kūh* 'гора', ср. также осет. диг. *k'upr* 'выпуклость', 'холм', 'горка');

слав. **nebes-* 'небо' — иран. **nabah-* 'небо', 'воздух' (в скифском, однако, это слово, вероятно, уже было вытеснено словом **abra*, ср. осет. *arg* 'небо');

¹⁵ В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, I. М.—Л., 1958, стр. 280.

- слав. **ponti-* 'путь' — иран. **pantā(n)-* (в слабых формах **paθ-*), но также **panti-* (ав. *pantān-/paθ-*, скиф. **panti-* в Παντικαίων, Παντικαίης, **pantā-* в Φανδαίαζος, **paθ-* в Πάταικος; осет. *fændag*); слав. **poina* 'пена' (часто с суффиксом *-k-*, ср. русск. пенка) — вост.-иран. **faina-ka* (осет. диг. *finkæ*); слав. **snoigo-* 'снег' — иран. **snaig-* 'ningere' (ав. *snaēžaiti* 'ningit'; в качестве соответствующего существительного вместо этого слова обычно употребляется **wafra-*, ср. пехл. *snēx* с пояснением: *vafr*); ст.-сл. *tъma* и т. д. — ав. *tamah-* 'тьма'; слав. *vetro-*, ср. также *-вей* в русском *сухой* и т. п. — иран. **wata-*, **wāyu-* (ав. *vāta-*, *vāyu*, перс. *bad*, осет. *wad*); слав. **voda* — ср. ав. *vaidi* 'текущая вода', 'оросительный канал', вахан. *vad* 'канал'; слав. **zeima* 'зима' — иран. *zyam-*, *zima-* (ав. *zyam-*, перс. *zimistan*, осет. *zymæg*); слав. **zem-* 'земля' (возможно, основа на *-ē*) — иран. **zam* (ав. *zam-*, перс. *zamīn*, осет. диг. *zænɣæ*); слав. **želd-* в ст.-сл. *žlědica* 'замерзающий дождь' и т. д. — иран. **jarda-* в перс. *žāla* 'град'.

Меньшее сходство обнаруживают слав. **vilna* 'волна' (огласовку даем по балтийской форме), **valo-* 'вал' и иран. **wymi-* (ав. *varami-*); слав. **pesu-ko-* 'песок' и ав. *pāsnu-* 'песок', 'пыль'; слав. **glei-nā* 'глина' и иран. **gri-*, **graya-* (согд. *γρυκ*, ягноб. *γṛīk*, осет. *ærgǣ*).

Наряду с этим имеется много расхождений: по-разному называются, в частности, море, река, озеро, болото, берег, мост, остров, поле, звезда, дождь, гром, молния, камень, основные металлы, лето, весна, осень. Различны основные названия воды и огня. Слишком разошлись первоначально сходные названия солнца и луны.

Мало сходств среди названий предметов материальной культуры. Отметим слав. **bolzi-* в **bolzina*, **bolzini* 'подушка' — иран. **barziš*; слав. **po-jāso-* 'пояс' — иран. *yāh-*; ст.-сл. *okolъ* 'крюк' — ав. *anku-*. Ср. также слав. **osi-* 'ось' и ав. *aša-* 'плечо' (с семантической стороны ср., например, нем. *Achse* и *Achsel*); слав. *sozā* и перс. *šax* 'сук', 'рог' (др.-инд. *śakhā* 'сук').

Славянское название боевого топора заимствовано из иранского.

Хорошо сохранилось в обоих языках индоевропейское название двери: слав. **dviri-*, ср. **dvorо-* 'двор' — иран. **dwar-* 'дверь' (ав. *dvar-*, сарыкол. *divir*, осет. *dwar*; с точки зрения связи значений ср., например, осет. *dwarmæ* 'у дверей', 'на дворе').

Широко распространенное евразийское название меда (напитка) мы находим в слав. **medu-* и осет. *myd*. Сходно название пищи: слав. **peitja-* — иран. **pitu-* (ав. *pitu-* 'пища', осет. диг. *fid* 'мясо'; с семантической стороны ср. фр. *viande* 'мясо' из *vivenda* 'продовольствие').

Из числа социальных терминов можно отметить лишь слав. **visi-* (может быть, **vis-* в рассматриваемый период) — иран. **wis-* (из праиран. *wiθ-*: ав. *vis-* 'двор', др.-перс. *viθ-* 'царский двор', 'царская династия') и слав. **mizda* 'плата', первоначально 'доля добычи' — иран. **mižda-* (ав. *mīžda-*, осет. диг. *mizd*).

Как известно, большое сходство между славянским и иранским наблюдается в сфере религиозно-мифологической и культовой терминологии, однако это сходство, по-видимому, само в значительной степени обусловлено славяно-скифским контактом и потому здесь не рассматривается.

Среди основных прилагательных мы находим в славянском и иранском ряд сходных:

- слав. **budro-* 'бодрый' — ав. *-budra-* (в словосложении);
- слав. **desino-* 'правый' — иран. **dašina-* (ав. *dašina-*; ср. осет. *dæсны* 'искусный');
- слав. **dilgo-* 'долгий', 'длинный' (огласовку даем по балтийской форме) — иран. **drga-* (ав. *darəga-*, скиф. **darga-*, осет. *dargǵ*);
- слав. **dirzo-*, **dirzuko-* 'дерзкий', 'смелый' — ав. *darši-*, *daršyu-* 'храбрый', а также *dərzra-*, *dərazi-* 'могучий';
- слав. **jouno-* (**jeuno-*) 'юный' — иран. **yuwan-*, **yǎn-* (ав. *yavan-/yun-*);
- слав. **kurno-* 'с телесным недостатком' — ср. ав. *karəna* 'глухой', осет. *kur-*, *kxl*, *k'ul-* 'с телесным недостатком';
- слав. **mondro-* 'мудрый' — ср. ав. *maqzdra-* 'мудрый';
- слав. **novo-* 'новый' — иран. **nawa-*;
- слав. **pilno-* 'полный' (огласовку даем по балтийской форме) — иран. **prna-*;
- слав. **svoito-* 'свет', **svoit-ilo-* 'светлый' и т. д. — иран. **spaita-* 'белый' (из праиран. **ǰwaita*; ав. *spaeta*);
- слав. **taj-ino-* 'тайный', ср. **tati-* 'вор' — ав. *taya-* 'тайный', ср. *tayu-* 'вор';
- слав. **tongo-* 'тугой' — осет. *tyng* 'туго', 'крепко', ср. ишкашим. *tang*, рушан. *tāng*, бартанг. *tōng* 'узкий';
- ст.-сл. *тънѣкъ* 'тонкий', др.-русс. *тѣнѣкъ* — осет. *tænæg*, памир. *tanuk*;
- ст.-сл. *тъштѣ* 'пустой' и т. д. — ср. афг. *taš* 'пустой' (< **tuskya-*);
- Сходны также славянские и иранские слова со значением 'явно', 'явный': ст.-сл. *ave*, *jave* 'явно' и т. д. — ав. *aviš* 'явный'.
- Определенное сходство обнаруживается также в таких случаях, как слав. **žilto-* 'желтый', **zeleno-* 'зеленый' (ср. **zolto-* 'золото') — ав. *zari-*, *zairita-* 'желтый' (ср. *zaranya-* 'золото'); ст.-сл. *toplъ* 'теплый' и т. д. — иран. **tapta-* слав. **polvo-* 'белый', 'белесый' — осет. *fæl-* в *fælürs* 'бледный'; слав. **onzu-ko-* 'узкий' — ср. ав. *qz-ah-* 'стеснение', 'нужда'; ср. также чеш. *slota* 'непогода' и иран. **sarta-* 'холодный'¹⁶.
- Гораздо чаще, однако, славянские и иранские прилагательные расходятся, ср., например, прилагательные со значением 'большой', 'малый', 'высокий', 'короткий', 'толстый', 'широкий', 'глубокий', 'прямой', 'тяжелый', 'твердый', 'быстрый', 'старый' и т. д.
- Большое число глаголов имеет в славянском и в иранском сходные или даже одинаковые корни. Укажем наиболее важные из них:
- слав. **bū-* 'быть' — иран. **bū-* 'быть', 'становиться'; славянские формы, образованные от и.-е. корня **es-/s-*, также находят хорошее соответствие в иранском, например, слав. **esmi*, **esti*, **sonti-* — иран. **ahmi*, **asti*, **hanti*;
- слав. **boj-* 'бояться' (ст.-сл. *bojati se*, *bojǫ se*) — иран. **bay-*, **bī-*, основа наст. времени **baya-* (ав. *bayente* 'они устрашают');
- ст.-сл. *briti*, *brijǫ* — иран. *brīn-* 'резать', 'стричь' (ав. *brīn-*, осет. диг. *ælvīnun*);
- слав. **čēit-*, **cit-* 'читать', 'читать' (ст.-сл. *čisti*, *čьtq*, ср. *čьstь* 'честь') — иран. **čaiθ-*, **kaiθ-* (*čait-*, *kait-*) 'размышлять', 'обдумывать' (ав. *kaet-*, *kaēθ-*, ср. *čisti-* 'размышление'; осет. диг. *citæ* 'честь', *cetun* 'напоминать', 'ставить на вид');
- слав. **dē-* 'деть', 'положить' и **dā-* 'дать' — иран. **da-* 'положить', 'создать' и 'дать' (среди разнообразных основ наст. времени этого глагола в авестийском имеются *dān-* и *dāya-*, среди инфинитивов — *daiti*, *-daitim*, *daðai*);

¹⁶ В список не включены многие прилагательные, тесно связанные с глаголами, например, **živo-* 'живой' и т. п. Не приведены также прилагательные, относящиеся к религиозно-этической сфере.

- слав. **doj-* 'доить' (ст.-сл. *doiti*, *dojq*) — иран. **day-* 'сосать' (ягноб. *di-*, осет. *dæjyn*);
- слав. **dir-*, *der-* 'раздирать' (ст.-сл. *d̥rati*, *derq*) — иран. **dar-* 'раздирать', 'разрывать' (ав. *dar-*, *niš-dar-*, перс. *dar(r)īdan*, ср. скиф. *Φαλδάρανος* < **pari-darana-* 'сокрушитель');
ст.-сл. *držati*, *držžq* 'держать' — ав. *dražaitē* 'держит', перс. *dāstan* 'держать', 'владеть';
- слав. **grab-* 'грабить', 'хватать' (ст.-сл. *grabiti*, *grabljq*) — иран. **grab-* 'хватать', 'захватывать' (среди различных основ наст. времени имеется несколько типов с суффиксом *-ya-*: др.-перс. *garbāya-*, ав. *gaurvaya-*, *garabya-* и др.);
- слав. **laj-* 'лаять' (ст.-сл. *lajati*, *lajq*) — иран. **rāy-* (осет. *ræjyn*);
- слав. **lēz-* 'лезть', 'приходить' (ст.-сл. *lēsti*, *lēzq*) — иран. **rāz-* 'направлять(ся)' (ав. *raz-*, *rāz-*);
- слав. **leiz-* 'лизать' (ст.-сл. *lizati*, *lizq*) — иран. *raiz-* (ав. *raēz-*, перс. *lištan*);
- слав. **min-* 'думать' (ст.-сл. *m̥neti*, *m̥njq*) — иран. **man-*, основа наст. времени обычно **manya-*;
- слав. **mir-*, **mer-* 'умирать' (ст.-сл. *m̥rēti*, *m̥r̥q*, ср. *m̥r̥tvъ*, *sъ-m̥r̥tvъ*) — иран. **mar-*, ср. **m̥rta-* 'мертвый', ср. также ав. *ava-m̥arēti-*, *m̥arēdyu-* 'смерть';
- слав. **nes-* 'нести' (ст.-сл. *nesti*, *nesq*) — иран. **nāš-* (ав. *nāš-*, итератив *nāšaya-*, ср. ст.-сл. *nositi*, *nošq*);
- слав. **pād-* 'падать' (ст.-сл. *pasti*, *padq*) — иран. **pat-* 'падать', 'лететь', основа наст. времени **pata-*;
- слав. **pek-* 'печь' (ст.-сл. *pešti*, *pekq*) — иран. **pač-*, основа наст. времени **pača-*;
- слав. **pird-* 'pedere' — иран. **p̥rd-* (ав. *p̥rəd-*);
- слав. **plu-*, **plou-* 'плыть' (ст.-сл. *pluti*, *plovq*; *plavati*, *plavajq*; *plaviti*, *plavljq*) — иран. **pru-*, каузатив **prāvaya-* (ав. *us-frāvayōit* 'да отплывет');
- слав. **pros-* 'просить' (ст.-сл. *prositi*, *prošq*; *vъprositi*, *vъprošq*) — иран. **pras-*, **p̥rs-*, **pars-* 'спрашивать' (ав. *p̥rəsaiti* 'спрашивать', осет. *færsyn*; ав. *frasa-* 'вопрос' ср. ст.-сл. *vъ-prošъ*);
- слав. **pis-*, **peis-* 'писать' (ст.-сл. *p̥sati*, *pišq*) — иран. **pis-*, **pins-* (др.-перс. *ni-pištanaīy* 'написать', перс. *nivīstan*, осет. диг. *finsun*);
- слав. **reu-* 'реветь' ст.-сл. *r̥juti*, *revq*) — иран. **ru-*, **raw-* (осет. *arawyn* 'оглашать шумом');
- слав. **slu-*, **slou-* 'слышать', также с распространителем *-x/š* (ст.-сл. *sluti*, *sluṣati*, *slyṣati*; ср. *slovo*, *slava*, *sluxъ*) — иран. **sru-*, **sraw-* (ав. *sru-*, ср. *sraoša-* 'слух', *srawah-* 'слово'; ср. также ав. каузатив *srawayeiti* и ст.-сл. *slaviti*, *slavljq*);
- слав. **stā-*, **sto-* 'стоять' — иран. **stā-*, **sta-* (среди основ наст. времени в авестийском находим *stanu-*, *stāya-*, *staya-*, ср. ст.-сл. *stanq* и *stojq*); ср. также слав. **stāno-* и иран. **stāna-*;
- слав. **stil-*, **stel-* 'стлать' и **stir-*, **ster-* 'простирать', 'расстилать' — иран. **star-* (ав. *star-* 'рассыпать', *fra-star-* 'простирать' *fra-atarā-ta* 'простер-тый');
ст.-сл. *šiti*, *šijq* 'шить' — иран. **hu-*, *hyu-* (ягноб. *šī-*, осет. *xwyjyn*);
- слав. **taj-* 'таять' (ст.-сл. *tajati*, *tajq*) — иран. **tay-* (осет. *tajyn*);
- слав. **tek-* 'течь' (ст.-сл. *tešti*, *tekq*) — иран. **tač-*, основа наст. времени **tača-* (ав. *tač-*, осет. *tæzyn*);
- слав. **teng-*, **tong-* 'тянуть', 'натягивать' (ст.-сл. *tegnqti* и др.) — иран. **ṭang-* (ав. *ṭanjayeiti* 'натягивает', осет. *tynzyn*);
- слав. **tes-* 'тесать' (ст.-сл. *tesati*, *tešq*) — иран. **taš-*, основа наст. времени **taša-*;

- слав. **tep-*, **top-* 'греть', 'топить' — иран. **tap-* (ав. *tap-*, каузатив *tapaya-*, осет. *tavyn*, ср. ст.-сл. *topiti*);
- слав. **up-* 'вопить' (ст.-сл. *vъpiti*, *vъpiti*) — ав. *ufyemi* 'призываю';
- ст.-сл. *vějati*, *vějō-* 'веять' — иран. **wā-* (ав. *vā-*, пехл. *vāyī-tan*);
- слав. **velk-* 'влечь' (ст.-сл. *vlěsti*, *vlěkō*) — иран. **warč-* (ав. *varəč-*);
- слав. **virt-*, **vert-* 'вертеть', 'поворачивать' — иран. **wart-* (ав. *varət-*);
- слав. **ved-* 'вести' — иран. **wad-* (ав. *vad-*, итератив *vādaya-*, ср. ст.-сл. *voditi*, ав. *ura-vādaya* — 'брать замуж', 'отдавать замуж', ср. ст.-сл. *vedō* 'женюсь' [на ком-л.]);
- слав. **vez-* 'везти' — иран. **waz-* (ав. *vaz-* 'везти', 'вести', 'ехать');
- ст.-сл. *viti*, *viq* 'вить' — иран. **wī* (осет. диг. *bijun*);
- слав. **vel-* 'желать', 'велеть' (ст.-сл. *velěti*, *velq*) — иран. **war-* 'желать', 'выбирать' (ср. особенно осет. *bællyn* 'желать' от основы **warya-*);
- ст.-сл. *žiti*, *živq* 'жить' (ср. *živъ*, *životъ* и др.) — иран. **jīw-*, **jī-*, основа наст. времени **jīwa-* (ав. *j(i)vaiti* 'живет', ср. ав. *jva-*, др.-перс. *jīva-* 'живой', ав. *jiti* 'жизнь');
- слав. **zna-* 'знать' — иран. **zan-*, **znā-* (*žnā-*, *xsnā-*) (из праиран. **ǵan-*, **ǵnā-*: ав. *zānāiti*, др.-перс. *danātiy* 'знает', ср. ав. *znatar-* 'знающий', др.-перс. *xšnāsatiy* 'пусть узнает'; ср. осет. *æznag* 'враг' < **a-znā-ka* 'незнакомец');
- ст.-сл. *zъvati*, *zovq* 'звать' — иран. **zaw-*, **zba-* (из праиран. **ǵaw-*, **ǵwa-*; ав. *zavaiti*, *zbayeiti* 'зовет', ср. *zbatar-* 'зовущий').

Большое число глаголов обнаруживает меньшую, но все же заметную близость. Однако очень много и расхождений, ср., например, славянские и иранские глаголы со значением 'делать', 'видеть', 'говорить', 'кричать', 'рождаться', 'расти', 'лежать', 'ждать', 'гнать', 'слать', 'бросать', 'сражаться', 'брать', 'покупать', 'строить', 'мыть', 'отпускать' и т. д. В ряде случаев первоначальное сходство утратилось вследствие разного фонетического развития, ср., например, глаголы со значением 'сидеть', 'спать', 'искать' и др.

К каким выводам приводит сопоставление славянского и скифского языков середины I тысячелетия до н. э?

Фонетические системы сопоставляемых языков в целом близки; различие в составе фонем между ними не больше, чем между диалектами многих современных языков или между такими современными языками, носители которых понимают друг друга. Приведенный лексический материал позволяет установить, помимо случаев совпадения фонологической эквивалентности с генетическим тождеством, следующие отношения¹⁷.

1) Иран. *a* — слав. *o* (в соответствии с непосредственным восприятием) или *e*. Оба соответствия (*a* — *o* и *a* — *e*) встречаются очень часто, причем распределение *e* и *o* фонетически не обусловлено. Это значит, что соответствие иран. *a* — слав. *e* безусловно осознавалось двуязычными индивидуумами, однако нельзя ожидать, чтобы какое-либо иранское слово, содержащее *a*, было передано в славянском с *e*.

2) Иран. *a* — слав. *a* (в соответствии с непосредственным восприятием) или *e*. Эти соотношения встречаются заметно реже, но, по-видимому, также могли осознаваться как регулярные по аналогии с предшествующими.

¹⁷ Фонетические отношения рассматриваются с точки зрения славянского восприятия.

3) Иран. *r* — слав. *r* (в соответствии с непосредственным восприятием) или *l*. Оба соответствия встречаются часто, причем распределение *r* и *l* фонетически не обусловлено. Ситуация аналогична, таким образом, случаю 1.

4) Иран. *x* или *h* — слав. *x* (в соответствии с непосредственным восприятием) или *s*. Первое соотношение встречается очень редко, второе значительно чаще. Отношение *x*, *h* — *s* явно осознавалось двуязычными индивидуумами как «формула перехода»; более того, при достаточно большом числе случаев такого соответствия делается вероятной замена иранского *h*, *x* на *s* в славянской передаче. По-видимому, однако, лексическая база этого соответствия была недостаточно велика для того, чтобы такая передача стала регулярной.

5) Иран. *š* — слав. *š* (в соответствии с непосредственным восприятием) или *x* или *s*. Первое соотношение наблюдается в случаях типа иран. **mūš-* — слав. *mūši-*, второе в случаях типа иран. **bruša* — слав. **bluxa*, третье в случаях типа иран. **dašina-* — слав. **desino-*. Поскольку между славянскими *š* и *x* еще сохранялась отчетливая фонологическая связь, первые два соотношения, вероятно, воспринимались как варианты одного и того же; таким образом, вполне вероятна замена иранского *š* славянским *x* в положении перед задней гласной. Третье соотношение наблюдалось редко и могло не осознаваться как самостоятельное.

6) Иран. *ar* — слав. *or* (в соответствии с непосредственным восприятием), но также *er*, *ir*, *ur* и *ol*, *el*, *il*, *ul*. Несовпадение огласовок в положении перед плавным встречается настолько часто, что следует считать вероятными колебания в передаче славянами иранского *ar*.

7) Иран. *sp* — слав. *sp* или *sv*. Число примеров обоих соответствий слишком невелико; вероятно, они не осознавались как регулярные; так, соотношение между несомненно сходными иранскими **spaita-*, **spanta-* и славянскими **svoito-*, **svento-* скорее всего воспринималось как случайное, подобное, например, соотношению между украинскими *dіброва*, *огірки* и русскими *дубрава*, *огурцы*.

Таким образом, одни лишь фонетические различия, при достаточном количестве общей лексики, безусловно не мешали бы прямому славяно-иранскому общению.

Грамматические системы сопоставляемых языков также в целом сравнительно близки, как структурно, так и материально. Различие здесь сопоставимо, например, с различием между русским и сербохорватским (сходная система склонения, хотя и со многими различиями во флексии; различная система прошедших времен). Примеры контактов между современными языками показывают, что в тех случаях, когда при большом количестве сходных корней и достаточной близости общей структуры предложения заметно различаются словоизменительные флексии, говорящие могут, опираясь на избыточность речи, в значительной степени отвлекаться от словоизменения и воспринимать чужой язык как своего рода аморфный. Примером такого рода может служить восприятие русскими болгарского языка и наоборот. В германистике часто указывают на такой же контакт между древнескандинавским и древнеанглийским. Разумеется, возможность отвлекаться от разницы в грамматических элементах тем больше, чем больше сходной лексики в контактирующих языках.

Таким образом, как фонетической, так и грамматической близости между праславянским и скифским было достаточно для того, чтобы при большом количестве сходной лексики было возможно прямое взаимопонимание. Однако как раз лексические сопоставления, как можно видеть из приведенных списков, дают сравнительно скромный

результат. Действительно, хотя общий список сходных слов довольно велик, он составляет лишь малую долю словарного состава языка. Только в системе местоимений и среди имен родства сходная лексика преобладает. Следует отметить также, что приведенные случаи сходства неравноценны; нередко, по крайней мере, в одном из языков сопоставляемое слово не являлось основным обозначением соответствующего понятия; кроме того, некоторые иранские слова, известные из Авесты или из отдельных иранских языков, могли отсутствовать в языке иранцев, соседствовавших со славянами. Разумеется, значительная часть как иранской, так и славянской лексики до нас не дошла; несомненно, что какая-то часть этой утраченной лексики была сходна у славян и иранцев; у нас нет, однако, оснований предполагать, что в целом соотношение между сходной и различной лексикой было принципиально иным.

В целом мы должны сделать вывод, что прямое взаимопонимание между славянами и скифами рассматриваемой эпохи было практически невозможно. Действительно, хотя в принципе можно составить иранскую фразу, непосредственно понятную славянам, и, наоборот, в речи такие фразы должны были встречаться крайне редко. Предположение В. Пизани¹⁸ оказывается, таким образом, в общем правильным; однако его сопоставление славяно-скифского контакта с франко-итальянским, по-видимому, не совсем удачно. Действительно, непонимание французов итальянцами¹⁹ является прежде всего следствием очень сильной фонетической трансформации латинской лексики во французском языке; количество генетически тождественных слов в этих языках очень велико, а грамматический строй практически одинаков. С нашей точки зрения, различие между праславянским и скифским сходно скорее с различием между испанским и румынским: количество генетически тождественной лексики значительно меньше, степень фонетической трансформации этой лексики в общем сопоставима, в грамматическом строе имеются существенные различия.

Каким образом менялся характер языкового контакта между славянами и скифами за длительный период их соседства?

Почти все фонетические изменения, происходившие в каждом из сопоставляемых языков в период с середины I тысячелетия до н. э. по первые века н. э., уменьшали первоначальную фонетическую близость между славянским и скифским. Таковы изменение славянских *й, и, i* в *y, ъ, ѓ*, появление протетических гласных²⁰, широкий круг явлений, объединяемый тенденцией к утрате закрытых слогов, и ряд других славянских процессов. С другой стороны в скифском происходит озвончение глухих после сонорных, переход *p* в *f* (возможно, также изменение других взрывных в спиранты)²¹, отпадение начального *f* перед *r*, многочисленные метатезы, ассимиляция *t* перед *i*, утрата *y, w, h* в ряде положений²².

По крайней мере в одном случае, однако, мы имеем дело со сходным фонетическим изменением: как в скифском, так и в славянском

¹⁸ V. Pisani. Указ. соч., стр. 376.

¹⁹ В обратном направлении возможно значительно большее понимание.

²⁰ Интересно отметить, что развитие гласных *й, i* в иронском диалекте осетинского языка отчасти напоминает эти праславянские процессы: *i* дает звук нейтрального типа *y*, *и* дает *wy* в начале слова и после заднеязычных, *y* в прочих случаях; ср., например, иронское *wyrd* и славянское *vydra*. Трудно допустить, однако, какую-либо историческую связь между этими явлениями.

²¹ В некоторых случаях спирантизация является, по-видимому, очень древней (например, переход *pr* в *fr*), возможно, еще «праскифской».

²² В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 202—216.

приблизительно в одну и ту же эпоху монофтонгизируются дифтонги. Хотя монофтонгизация хорошо объясняется общеславянскими и общеиранскими тенденциями, тот факт, что она произошла приблизительно одновременно в скифском и в славянском, позволяет связать это явление со славяно-скифским контактом. В двух других случаях фонетические изменения ведут к сближению звукового облика скифского и славянского языков: в славянском отпадают конечные согласные; в скифском *r* перед *i*, *y* переходит в *l*; после утраты *y* в сочетании *ly* это *l* становится фонологически самостоятельным²³.

В. Пизани относит к эпохе славяно-скифского контакта также переход $s > \check{s}$ в славянском, считая его результатом имитации славянами иранского произношения²⁴. Это очень неправдоподобно, прежде всего потому, что славянское изменение s в $x/\check{s}$ после *i*, *ǣ*, *r*, *k* явно представляет собой изменение $s > x$ с последующей палатализацией $x > \check{s}$, параллельной $k > \check{c}$ и $g > \check{ž}$. Имитация иноязычного (иранского) произношения (если таковая вообще возможна) дала бы $\check{s}$ во всех случаях, а также, вероятно, x там, где в иранском *h*.

В развитии грамматического строя между сопоставляемыми языками за период их контакта произошло глубокое расхождение. Строй праславянского языка изменился за это время довольно мало. Напротив, строй скифского языка изменился очень сильно: к концу рассматриваемого периода скифский язык утратил значительную часть флексий и перешел от флективного «древнеиранского» состояния к агглютинативно-аналитическому «среднеиранскому» состоянию²⁵.

В лексике славянского и скифского языков за время контакта произошло некоторое сближение, явившееся отчасти результатом заимствований (главным образом из скифского в славянский), отчасти результатом семантического сближения исконно родственных слов. Большая часть лексики, в которой можно усматривать результат славяно-скифского контакта, относится к религиозно-мифологической и культовой сфере²⁶. Наряду с этим имела место естественная лексическая дивергенция.

Таким образом, к концу периода контакта различие между славянским и скифским языками увеличилось во много раз. Незначительное количество фактов конвергенции не могло сколько-нибудь заметно уменьшить это расхождение.

²³ Фонологически самостоятельное *l* появляется в скифском сравнительно рано; так, скифское **aluð* 'пиво' (в собственном имени 'Αλοῦθαρος), заимствованное из какого-то северного языка (ср. прагерм. **aluþ-*), содержит уже *-l-*, а не *-r-*.

²⁴ V. Pisanì. Указ. соч., стр. 375.

²⁵ В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 216—220.

²⁶ См. R. Jakobson. Slavic mythology. — «Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend», II, N.-Y., 1950, стр. 1025—1028, а также А. А. Зализняк. Указ. соч., стр. 41—44.

П. Трост

СУПИН В БАЛТИЙСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

I. Обычно считают, что употребление супина в литовском и латышском языках, в той мере, в какой эта форма вообще еще употребляется, является правилом при непереходных и переходных глаголах движения для обозначения цели движения, например: лит. *jis eina gultų* 'он идет спать', лтш. *vilks esot gājis pie dieva sūdzētu un lugtos* 'волк, говорят, пошел к богу жаловаться и выпрашивать', *viņš puiku dzinis guletu* 'он гнал мальчика спать'.

Но грамматисты не составили списка глаголов, при которых употребление супина является правилом. Во всех грамматиках приводится ряд примеров на супин при глаголах, не обозначающих движение как таковое, например, лит. *prašom valgytų* 'просим к столу' (буквально «просим есть»), лит. *karalius priėmė įą kiaulių liuobtų* 'король взял ее кормить свиней'¹. Подобные случаи объясняют тем, что в них именно супин придает значение движения, и, следовательно, *prašom valgytų* идентично *prašom eit valgytų* 'просим идти есть'. Это объяснение в большинстве случаев допустимо, но пример Ф. Куршата *aš tau duosiu gertų* 'я дам тебе напиться' явно не подпадает под него. Действительно ли это совершенно исключительный пример?² Действительно ли супин употребляется, как правило, с глаголами движения в собственном смысле слова, а также с другими глаголами, которые предполагают или допускают наличие движения для осуществления другого действия? Иными словами, действительно ли супин стоит при глаголах, имеющих значение 'идти' и т. п. или часто сочетающихся с глаголом со значением 'идти'?

На такой вопрос трудно ответить, поскольку супин в литовском и латышском языках сохранился только в некоторых говорах, а в остальных заменился инфинитивом³.

II. Даже в тех случаях, когда супин заменяется инфинитивом, в литовском сохраняется управление родительным падежом. При супине родительный падеж обязателен (например, лит. *du atliko numirėlio sergėtų* 'двое остались присмотреть за покойником', лтш. *iesim guovu slauktu* 'пойдем доить коров'). Родительный падеж стоит также при инфинитивах глаголов движения, например: *atėjo pažiūrėti numirėlio* 'они

¹ Rygiškių Jonas (J. Jablonskis). Lietuvių kalbos gramatika. Kaunas—Vilnius, 1922, § 220.

² J. Endzelin. Lettische Grammatik. Riga, 1926, § 792.

³ Р. Готье (R. Gauthiot. Le parler de Buividze. Paris, 1903, § 82) выяснял, что в исследуемом им восточнолитовском говоре «инфинитив после глаголов движения совершенно неизвестен, в этих случаях употребляется исключительно супин».

пришли взглянуть на покойника', лтш. *Lizbete devās Karļa meklēt* 'Лизбета отправилась навестить Карла'.

В литовском (но не в латышском) остальные переходные глаголы требуют дательного падежа при указании на цель действия, например: *šitas tinklas geras žuvims gaudyti* 'эта сеть хороша для рыбной ловли', *motina gavo vaikėlį kiaulėms ganyti* 'мать нашла мальчонку пасти свиней'. Родительный падеж с инфинитивом, заменяющим супин, ограничивает, следовательно, употребление дательного падежа с инфинитивом.

Об употреблении дательного падежа с инфинитивом в современном литовском языке недавно велась дискуссия, поводом для которой явилось утверждение И. Бальчикониса о том, что дательный падеж употребляется только тогда, когда идет речь о средстве для достижения цели⁴. Поэтому дательный падеж с инфинитивом употребляется в предложении *neturiu dantų riešutams krimsti* 'у меня нет зубов (чтобы) щелкать орехи' и, напротив, дательный падеж невозможен, если *neturiu dantų* заменить на *neturiu noro* 'у меня нет желания'. Против такой концепции приводились многочисленные примеры употребления дательного падежа с инфинитивом, где явно не идет речь о средстве к достижению цели, например: *nėr man močiutės kraiteliui krauti* 'нет у меня матушки, чтобы мне собрала приданое', *bokšte varpai suskambėjo merguželei lydėti* 'на башне зазвонили колокола, чтобы шли провожать девушку'. Этот спор об употреблении дательного падежа с инфинитивом в литовском можно было бы решить таким образом: дательный падеж употребляется с инфинитивом, указывающим на цель или направление, но не с инфинитивом, указывающим на содержание действия. Инфинитив содержания указывает на действие внутри другого действия, главным образом на физическое действие как результат психического акта; оба действия не находятся в одной плоскости.

Инфинитив при глаголах движения указывает не на содержание, а на цель или направление действия, поэтому употребление родительного падежа при глаголах движения ограничивает употребление дательного падежа.

III. О супине в древнепрусском языке можно сказать только следующее: нельзя категорически утверждать, как это делает Р. Траутман, что специфическое употребление формы супина на *-ton* исчезло. Ведь если в первом издании катехизиса было непечатано *pergubuns wirst preyleiginwey* 'оттуда придет судить', то во втором исправленном издании это место было изменено на *wirst pergubons leygenton* (далее следует винительный падеж *stans gywans bhe aulaunsis*)⁵.

IV. Славянский супин соответствует балтийскому не только формально, но и областью своего употребления. Общепринято положение, что супин употребляется в славянском (поскольку он еще не совпал с инфинитивом), как правило, при глаголах движения и только в виде исключения при других глаголах⁶.

Так, в старославянском супин употребляется с глаголами **ити**, **грати**, **вѣсти** и другими непереходными глаголами, а из переходных — с **вести** (кѣзвести) и **послѣати**⁷. Единичны примеры употребления супина с глаголами **моути** и **хотѣти**. В старочешском в тех случаях,

⁴ J. Palionis. Dar kartą dėl «naudininko su bendratimi» konstrukcijos. — «Literatūra ir menas», 1956, 24/III (№ 13); J. Balčikonis. Kada gi vartojamas tikslas naudininkas su bendratimi. — «Literatūra ir menas», 1956, 14/IV (№ 16).

⁵ J. Endzelin. Altpreussische Grammatik. Riga, 1944, § 250.

⁶ Иначе трактовал этот вопрос А. А. Потебня («Из записок по русской грамматике», т. I—II. М., 1958, стр. 349 и след.).

⁷ K. H. Meyer. Altkirchenslavische Studien, II, 1934.

когда супин не зависит от глагола движения, по Я. Гебауэру, «понятие движения иногда не выражено, но подразумевается», например, *kāzal jīm dēlat do svē vinnicē* 'он велел им работать на своем винограднике' идентично *kāzal jīm, aby šli dēlat* 'он велел им идти работать', что показывает обстоятельственный оборот с предлогом, обозначающим направление движения⁸. В словенском языке и сейчас супин употребляется с глаголами движения и с глаголами, «вызывающими движение»⁹. Например, можно сказать и *navsezgodaj je hitel kositi* 'очень рано он спешил косить' с инфинитивом и *navsezgodaj je hitel kositi* с супином: с инфинитивом *hiteti* сочетается в значении 'быстро делать что-либо', а с супином — в значении 'быстро идти куда-либо'.

И в славянских языках на ранних стадиях их развития дополнение при супине стоит, как правило, в родительном падеже.

V. Согласие между балтийским и славянским, и только между балтийским и славянским, кажется в вопросе употребления супина полным. Однако в балтийском супин входит еще в состав сослагательного наклонения, хотя эти две формы не идентичны¹⁰. В современном латышском языке имеется одна форма сослагательного наклонения для всех лиц, совпадающая по форме с супином. В литовском только форма 3-го л. сослагательного наклонения совпадает с супином, в то время как в формах других лиц супин употребляется со вспомогательным глаголом *bi*.

Хр. Станг считает, что сперва в значении сослагательного наклонения выступал просто супин, независимо от лица и числа¹¹. Не свидетельствует ли возникновение сослагательного наклонения из супина о предшествующем этому более широком употреблении супина? Такое предположение не является обязательным. Можно предполагать синтаксическое переосмысление супина с глаголами движения и дальнейшее распространение переосмысленных форм супина за счет более древних форм сослагательного наклонения или опатива. Остается только вопрос, почему произошло синтаксическое переосмысление супина и почему новое сослагательное наклонение вытеснило более старые формы. Восточнобалтийские формы сослагательного наклонения отнюдь не доказывают того, что в балтийском супин встречался не только с глаголами (физического) движения.

VI. Поскольку балто-славянский супин соответствует своей формой и употреблением латинскому супину, а также древнеиндийскому инфинитиву на *-tum*, супин в балтийском и славянском считали индоевропейской формой. Так, К. Бругман писал, что «винительный падеж от глагольных имен на *-tu-* употреблялся с индоевропейской эпохи при глаголах движения для обозначения цели», например, др.-инд. *hótum eti* 'идет просить жертву', лат. *cubitum it* 'идет спать', ст.-сл. **сѣиндоша са видѣтъ**¹².

Употребление родительного падежа с супином рассматривается либо как приименной родительный, что вытекает из именной природы супина

⁸ J. Gebauer. Historická mluvnické jazyka českého, d. IV. Praha, 1929, стр. 585.

⁹ A. Bajec, R. Kolarič, M. Rupel. Slovenska slovnica. Ljubljana, 1956, стр. 230 и след.

¹⁰ По оригинальному мнению В. Пизани, форма восточнобалтийского сослагательного наклонения не имеет ничего общего с супином («Studi Baltici», N. S., vol. I, 1952, стр. 34 и след.). Традиционное объяснение отстаивает Хр. Станг («Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», Bd. XVIII, 1958, стр. 348 и след.).

¹¹ Chr. S. Stang. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942, стр. 250.

¹² K. Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904, § 811.

и инфинитива, либо как адвербиальный родительный: от глагола движения зависит, с одной стороны, родительный цели, с другой — «эпкезетический» инфинитив¹³; родительный цели употребляется в восточнобалтийских языках при глаголах движения и без супина, например, лит. *vandenėlio ėjai* 'я шла по воду', *siuntė mano motinėle į giružę lapų* 'послала меня матушка в лесочек за листьями'.

Теперь высказываются сомнения в общиндоевропейском характере супина. Доказывают, что древнеиндийский инфинитив на *-tum*, ставший единственной формой инфинитива в классическом санскрите, развился только в эпоху вед; он встречается уже в древнеиндийской прозе не только с глаголами движения, но также и с *arh* и *śak* 'мочь'. Считается вероятным, что супин возник в нескольких языках самостоятельно, поскольку там существовали аналогичные условия¹⁴. Такими условиями были наличие отглагольных имен на *-tu-* и винительного направления или цели. Глаголы движения сочетаются с винительным направлением или цели в древнеиндийском; они сочетаются с родительным цели только в балтийских языках. Против адвербиальной трактовки родительного при балто-славянском супине выдвигались возражения. Отмечалось, что при глаголах желания, также обозначающих направленность и цель, в том случае, когда они употребляются с инфинитивом, ни в балтийском, ни в славянском никогда не употребляется родительный, а только винительный¹⁵.

Именно между балтийским и славянским существует совпадение в употреблении супина с родительным падежом. Почему мы должны считать родительный с супином приименным родительным, если в балтийском и славянском не сохранились следы именного управления инфинитива? Но так же, по-видимому, неверно считать, что здесь объект при супине и инфинитиве зависит от управляющего глагола. По-видимому, управление родительного падежа с супином основывается на родительном цели, который, однако, не засвидетельствован в славянских языках с глаголами движения. Для балтийского и славянского следует признать существование генитивного управления у супина.

VII. Ответа требует вопрос, являлся ли супин простым вариантом инфинитива, прежде чем он был заменен инфинитивом или совпал с ним. Речь идет о том, употреблялся ли супин, как правило, с глаголами (физического) движения, так что инфинитив в этом случае не встречался (т. е. стал встречаться только в период исчезновения супина). К. Бругман считал недоказанным, что супин некогда был единственно употребляющейся формой при глаголах движения¹⁶. Он не высказывал своего мнения о том, были ли в этой позиции различия в значении между супином и инфинитивом.

Если супин был вариантом инфинитива, позиционным (при небольшой лексической группе глаголов) или свободным, какой смысл имело его существование? Может быть, супин существовал как простой пережиток более ранней системы из нескольких инфинитивов? Наконец, если он почти повсеместно исчез, почему процесс его утраты не прошел уже раньше?

Оказалось, что супин некогда сам выражал движение и тем самым замещал глагол движения. Однако вопрос состоит в том, не существовали ли также семантические различия между супином и инфинитивом

¹³ E. Fraenkel. Syntax der litauischen Kasus. Kaunas, 1928, § 66.

¹⁴ P. Sgall. Die Infinitive im Rgveda. Praha, 1959, стр. 909.

¹⁵ K. H. Meyer. Указ. соч., стр. 289.

¹⁶ K. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. II, 3. Strassburg, 1916, стр. 909.

самих глаголов движения. Может быть, это было различие между видами целенаправленности? Или здесь содержалось указание на степень связи между глаголами? Или в данном случае представлены следы семантического различия, которое Э. Бенвенист приписывал отглагольным именам на *-tu-* и на *-ti-*, т. е. различия между возможностью и осуществлением¹⁷? Э. Бенвенист интерпретирует лат. *cubitum ire* таким образом: «Эта синтагма представляет процесс как осуществление намерения, развивающегося с момента своего возникновения до своего конца по одной и той же субъективной линии. Это движение несет в себе потенциальную возможность своей направленности, а супин имеет уже функцию выявления этой возможности»¹⁸.

Единственным объективным признаком различия значения или понимания является тот факт, что в славянском в форме супина преимущественно употребляются глаголы несовершенного вида. Так, Я. Гебауэр показал, что в старочешских памятниках супин употребляется, как правило, от глаголов несовершенного вида, хотя иногда речь идет о завершенном действии. Этот факт может быть объяснен, если предположить, что супин выражал возможность действия, а инфинитив — его осуществление. Если инфинитив употребляется с глаголами движения, он никогда не сочетается с дательным падежом. Может быть, это указывает на понимание действия как следствия, а не цели.

Такое различие между супином и инфинитивом могло быть либо обобщено (вне глаголов движения), либо устранено. К процессу исчезновения супина относится лексикализация его остатков, например, чеш. *jdu spat*.

¹⁷ E. Benveniste. Noms d'agent et noms d'action en indoeuropéen, Paris, 1948, стр. 87 и след.

¹⁸ E. Benveniste. Указ. соч., стр. 100.

В. Н. Топоров

ХЕТТСКАЯ *SALŠU. GI* И СЛАВЯНСКАЯ БАБА- ЯГА

Реконструкция любого языкового текста предполагает знание не только кода, но и сообщения. Сообщение обычно возникает на пересечении внеязыковой ситуации с семантической системой данного языка, причем семантические ограничения, накладываемые на материал этой ситуации, относительно невелики: они практически неощутимы на уровне, более высоком, чем слово или отдельное словосочетание. Во всяком случае можно пренебречь влиянием семантической системы конкретного языка в применении к некоторым довольно элементарным содержательным отрывкам, выражающимся в сочетании фраз (например, в мотивах). Таким образом, на этом уровне анализа языковые различия оказываются малосущественными (тем более это относится и к сюжетам, если только не говорить о таком сложном и пока весьма неопределенном явлении, как *mentalité*). Из сказанного следует, что по языковому сообщению можно в принципе восстановить не только семантическую систему данного языка, но и внеязыковую ситуацию общую для всех независимо от языка. Однако трудность заключается в том (по крайней мере, для целого класса задач), что, умея реконструировать незасвидетельствованные элементы плана выражения, мы, по существу, не знаем принципов, которые бы позволили по данному сообщению воссоздать незасвидетельствованное сообщение в его основных элементах и тем более лежащую за ним внеязыковую ситуацию. Понятно, что положение становится еще более сложным, если речь идет не просто о восстановлении содержательных элементов сообщения в их последовательности, а об определении его значимых и обязательных элементов в отличие от факультативных, которые не являются, строго говоря, значимыми на уровне анализа мотивов. При этом следует помнить, что суть того или иного мотива в интересующем нас здесь смысле и, тем более, суть их сочетаний не может быть сведена к сумме результатов лингвистического анализа элементов, составляющих текст данного мотива¹.

Цель этой заметки заключается в том, чтобы обратить внимание на важность проблемы реконструкции сообщения или (в несколько ином плане) на возможность реконструкции одной знаковой (неязыковой) системы по другой и проиллюстрировать некоторые детали частным

¹ В этом смысле уместна аналогия с теорией семантической информации, согласно которой информация содержится лишь в предложениях, не определяемых (хотя бы в части их) структурой языка. См. R. Carnap, Y. Bar-Hillel. *An Outline of a Theory of Semantic Information* — «MIT Research Laboratory of Electronics», N 247, 1952.

примером. Общие положения о принципах такой реконструкции будут высказаны в другой статье. Здесь же достаточно только указать на то, что, по сути дела, задача сводится к стратификации сообщения, при которой выделяются содержательные элементы, большие, чем слово (в частном случае они могут совпадать и со словом).

При выполнении этой задачи следует, видимо, учитывать две важные методологические предпосылки. Одна из них относится к способу определения значения или смысла той или иной единицы сообщения и предполагает, что смысл данной единицы устанавливается на основании учета изменений, претерпеваемых ею во всех контекстах, в которые она входит (дистрибутивный принцип). Суть второй предпосылки сводится к тому, что, помимо хронологической аранжировки элементов сообщения, когда порядок следования элементов является свойством структуры, необходимо иметь в виду более мощную модель структуры сообщения, которая определялась бы как группа трансформаций малого числа исходных элементов и могла бы быть представлена в виде двумерной или многомерной матрицы².

Славянские сказки о бабе-яге (или функционально соответствующем ей персонаже) представляют удачный пример для иллюстрации некоторых аспектов реконструкции сообщения и через него реальной ситуации вне языка. Несколько обстоятельств благоприятствуют реконструкции. Среди них особенно важны следующие: наличие целого ряда вариантов сказок на эту тему; существенные противоречия в образе бабы-яги по отдельным сказкам, а иногда и в пределах одной сказки; связь сказки о бабе-яге с определенным обрядом, отраженным и помимо сказки в некоторых историко-этнографических реалиях; связь отдельных персонажей и ситуаций этой сказки с соответствующими образами других текстов в рамках той же самой культурной традиции; наличие изофункциональных персонажей и ситуаций в рамках иных культурных традиций (это обстоятельство существенно облегчает типологическое сравнение, играющее в данном случае значительно большую роль, чем в исключительно языковых реконструкциях); наконец, укорененность некоторых элементов сказки о бабе-яге в языковых фактах. Все эти обстоятельства до известной степени упрощают выделение более древнего ядра сказки и описание правил порождения из него реально засвидетельствованных текстов, а в дальнейшем — и установление связи с другими текстами, а через них — с более широким кругом внеязыковых ситуаций.

Впрочем, здесь можно ограничиться указанием лишь на некоторые предварительные результаты.

Прежде всего обращает на себя внимание двойственный характер сказок о бабе-яге. Эта особенность проявляется и в связи со всем циклом соответствующих сказок (например, в русских собраниях сказок) и попыткой выделить первоначальное ядро, и в связи с отдельными сказками, взятыми независимо. Двойственный характер сказок о бабе-яге обнаруживается прежде всего в прямо противоположной семантической интерпретации центрального эпизода любой из этих сказок — встречи героя с бабой-ягой. При этом необходимо подчеркнуть, что структурно и композиционно эпизод встречи обладает всегда одной и той же функцией, и поэтому именно он объединяет все сказки цикла в один тип. Более того, этот эпизод — независимо от его содержательной и эмоциональной интерпретации — настолько существен, что практи-

² Подробнее об этом см. C. Lévi-Strauss. L'analyse morphologique des ontes russes. — IJSLP, vol. III, 1960, стр. 122—149.

чески сам факт его наличия определяет тип сказки, несмотря на известные вариации частей, предшествующих эпизоду встречи героя с бабой-ягой. В пределах одной сказки двойственность может проявиться в наличии ряда непоследовательных деталей или непонятных черт, относящихся из всех героев сказки именно к бабе-яге и предметам, с нею связанным. В наиболее характерных случаях речь идет о существовании противоречащих и взаимоисключающих с логической точки зрения деталей, что воспринимается как серьезный художественный дефект. Впрочем, эти противоречия обычно обнаруживаются на семантическом уровне: в обычной формальной нотации сказки, отмечающей последовательность синтаксических сцеплений мотивов, противоречия такого рода, как правило, не фиксируются. Таким образом, приходится констатировать, что как во всем цикле сказок о бабе-яге (или, вернее, во всех версиях одной и той же, по сути дела, сказки), так и во многих отдельных сказках о бабе-яге отмечена любопытная ситуация, когда одна и та же последовательность формальных элементов (в известном смысле можно говорить о мотивах) несет различную, а иногда просто противоположную семантическую информацию. Одним словом, в этом случае исследователь сталкивается с чрезвычайно актуальной семиотической проблемой передачи разной информации на одной и той же волне.

Отмеченная особенность сказок о бабе-яге связана прежде всего (или даже исключительно) с двойственным характером образа самой бабы-яги. С одной стороны, баба-яга — добрая, мудрая, вещая старушка-дарительница, помогающая герою, указывающая ему верную дорогу; с другой стороны, баба-яга — злая похитительница детей, преследовательница героя, грозящая ему смертью³. Естественно, что объединить эти два типа бабы-яги (иногда к ним прибавляется третий: баба-яга — воительница) в рамках современных представлений, как бы широки они ни были, невозможно, хотя нет сомнения в том, что речь идет об одном и том же персонаже с одинаковыми особенностями в дистрибутивном плане и с одинаковым набором различительных признаков, взятых с противоположными (по крайней мере, в части случаев) знаками. Обычные приемы эволюционистской теории с установкой на хронологическое расслоение противоречивых явлений при всей плодотворности их результатов (и в общем плане — Д. Фрэзер, и в частном, связанном с анализом именно бабы-яги, — В. Я. Пропп) не могут сейчас считаться вполне удовлетворительными, между прочим, и потому, что факт разнонаправленной семантизации одного и того же текста вовсе не обязательно предполагает наличие двух или нескольких источников этого текста в прошлом. Очевидно, что та же самая проблема семантической поляризации встает и при анализе многих современных текстов — вполне единых и даже без сколько-нибудь заметной связи с той или иной традицией. Поэтому, не оспаривая принципиальной возможности скрещения разных текстов в ныне единый текст сказки о бабе-яге, представляется более целесообразным подходить к нему как к искони и в каждую данную эпоху единому, по-разному семантизовавшемуся в зависимости от характера изменений внеязыковой ситуации, отраженной в этом тексте (стоит подчеркнуть, что раз-

³ О двойственности образа бабы-яги см. Р. М. Волков. Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки, т. I. Сказка великорусская, украинская и белорусская. Одесса, 1924, стр. 50; В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, стр. 40—41; J. Polívka. Slovanské pohádky, I. Úvod. Východoslovanské pohádky. Praha, 1932, стр. 185 и след., не говоря о более ранних работах А. Н. Афанасьева, А. А. Потебни, П. В. Владимирова и др.

личия в семантической и эмоциональной интерпретации объясняются разными причинами, включая и неодинаковость языковых элементов в отношении проверки на их амбивалентность). Разумеется, что предлагаемый путь связан с определенными ограничениями. Однако их меньше, и они сами по себе проще, чем ограничения, связанные с применением эволюционистской точки зрения.

При таком подходе естественно предположить, что противоречия единого текста сказки о бабе-яге объясняются изменчивостью связанной с ним внетекстовой реальности и разным характером этой связи. Поэтому здесь нас интересует прежде всего изменяющаяся внетекстовая реальность, достаточно конкретная, чтобы быть описанной — ритуал, обряд, стоящий в некотором отношении на полпути между текстом и реальным положением вещей, не осмысленным в ритуальном плане. Поскольку связь волшебной сказки с ритуалом и, в частности, сказки о бабе-яге с определенным обрядом доказана⁴ и едва ли может быть подвергнута серьезным сомнениям, во-первых, и поскольку нас в данной статье не интересуют функциональные или эстетические различия между сказкой и мифом, во-вторых, — мы здесь сталкиваемся с общей проблемой взаимоотношения мифа и ритуала⁵. В разбираемом случае эта связь настолько неоспорима, что целесообразно воздержаться от рассмотрения случаев амифных ритуалов⁶ и мифов без ритуалов и случаев, когда ритуал отражен не только в мифе, но и в текстах иного рода (в инструкциях для жрецов, совершающих обряд, для непосвященных в таинства верующих или же в описаниях, подобных тем, которые оставили, например, мусульманские путешественники в славянские земли). И еще одно замечание — миф и связанный с ним ритуал имеют особое значение в обществе (в первую очередь — в первобытном), поскольку они являются практическим руководством в деле избежания смерти и сохранения жизни⁷. Поэтому древность мифа и соответствующего ритуала может до известной степени определяться тем, насколько непосредственно трактуются в них вопросы жизни и смерти. Если позднее эти вопросы выступают в более завуалированном виде (вплоть до генеалогических мифов и саг, за которыми некогда также стоял ритуал)⁸, то это объясняется тем, что в разные исторические эпохи судьба общего вопроса зависела от решения более опосредствованных и частных, в той или иной степени сохранявших, однако, следы связи с основным вопросом.

По нашему мнению, сказки о бабе-яге сохраняют многочисленные свидетельства связи с темой смерти, которые определяют и объясняют все основные противоречия сказки. В отличие от ряда исследователей мы полагаем, что связь сказок о бабе-яге с обрядом инициации и — шире — волшебных сказок с инициационным или сезонным ритуа-

⁴ См. Lord Raglan. *Myth and Ritual*. — «Myth: A Symposium», Bloomington, 1958, стр. 76—83; его же. *The Hero*. London, 1936; В. Я. Пропп. Указ. соч., стр. 11 и след., 41 и след. В применении к определенному разряду сказок эта связь была умело подчеркнута в кн. P. Saintyves. *Les contes de Perrault et les récits parallèles*. Paris, 1923.

⁵ О путях расхождения мифа с ритуалом с точки зрения мифа (миф в чистом виде, миф как историческое событие, миф как фольклор, миф как художественная литература) см. W. J. Gruffydd. *Math yab Mathonwy*. Cardiff, 1938, стр. 81; с точки зрения ритуала это расхождение рассматривается в ряде работ, в качестве резюме можно рекомендовать Lord Raglan. *Myth and Ritual*, стр. 81.

⁶ Понимание амифных ритуалов магии как дегенерированных форм нашло отражение в кн. Lord Raglan. *The Origins of Religion*. London, 1949.

⁷ S. H. Hooke (ed). *The Labyrinth*. London, 1935.

⁸ См. Lord Raglan. *The Hero*; M. Danielli. *Initiation Ceremonial from Norse Literature*. — «Folk-Lore», vol. LVI, 1945, стр. 229—245.

лом⁹ вторична и существенна, видимо, лишь постольку, поскольку и обряд инициации, и обряд, связанный с ежегодным умиранием и возрождением природы, опосредствованно отражают ту же самую тему смерти в ослабленном виде: посвящение юноши, имитирующее смерть и его возрождение для новой жизни в качестве полноправного члена общества; циклы в годовой жизни природы (и в том и в другом случае — смерть на время). Поэтому многочисленные детали сказок о бабеге, указываемые обычно с обрядом инициации или вовсе никак не объясняемые, можно расшифровать наиболее полным и, вероятно, адекватным образом при предположении, что сказка о бабеге отражает не только ритуалы, косвенно связанные с темой смерти, но и самый обряд погребения; отсюда — символика смерти, пронизывающая всю сказку.

Поскольку типологическое многообразие обрядов погребения несравненно более ограничено, чем многообразие связанных с ними сказок или мифов, то оказывается, что простое описание погребального обряда представляет собой средство, которое помогает многое уяснить в сказке. В частности, например, осторожный анализ хеттских текстов, описывающих ритуал похорон¹⁰, типологически проясняет некоторые особенности сказок о бабеге.

Исследователи обычно недоумевают, как объяснить факт появления бабег-яги в ипостаси мудрой старухи, вещуньи, помогающей герою в начале его путешествия, и как она связана с темой смерти. Нам кажется, что, несмотря на неполноту сведений, которые можно потерпеть в этом отношении из хеттских текстов, заслуживает внимания образ мудрой старой женщины *SALŠU.GI*, играющей не до конца ясную, но во всяком случае первостепенную роль в хеттских ритуалах, в частности, похоронных. Как установил недавно Оттен, за *SALŠU.GI* скрывается хеттское слово *SALhašauyaš* (ср. XXX 48, 15 и сл.: *A-ŪA-AT f Šu-šu-ma-an-ni-ga SALŠU.GI ma-a-an...*, но KUB VII 1, IV 5 и сл.; *A-ŪA-AT f Šu-šu-ma-an-ni-ga SALha-a-ša-ya-aš ma-a-an...*)¹¹. Возможно, что анализ этого слова прояснит некоторые дополнительные детали, относящиеся к *SALŠU.GI*.

SALŠU.GI — главный церемониймейстер в обряде похорон, принимающий умершего в царство смерти, помогающий ему совершить переход в потусторонний мир. Характерно, что (насколько можно судить по хеттским текстам) *SALŠU.GI* вступает в исполнение обряда, видимо, не сразу: она не руководит проводами, не оплакивает покойника, а совершает некоторые магические операции уже тогда, когда исполнены все предварительные процедуры: тело предано кремации¹², женщины, специально занимающиеся этим, собрали костные останки, уга-

⁹ См. P. Saintyves. Указ. соч.; В. Я. Пропп. Указ. соч.

¹⁰ См. H. Otten. Ein Bestattungsritual hethitischer Könige. — «Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie», NF, Bd. 12 (46), 1940, стр. 206—224 и особенно его же. Hethitische Totenrituale. Berlin, 1958 и «Zu den hethitischen Totenritualen», — OLZ, 57, N 5/6, 1962, стр. 229—233.

¹¹ О *SALhašauyaš* в грамматическом и этимологическом отношении см. H. Otten. Beiträge zum hethitischen Lexikon. — ZfAssyr., Bd. 16 (50), 1952, стр. 231—234.

¹² О трупосожжении у хеттов, помимо указанных работ Г. Оттена, см. E. Sommer. — OLZ, Bd. XLII, № 2, 1939, стр. 679 и след.; K. Bittel. Osman-Kayasi, eine hethitische Grabstätte. — MDOG, № 86, 1953, стр. 37 и след.; H. G. Güterbock. — «Archaeology», Bd. VI, 1953, стр. 215 и след.; O. R. Gurney. The Hittites. London, 1952, стр. 164 и след. («Burial Customs»); A. Goetze. Kulturgeschichte des Alten Orients. Dritter Abschnitt. Kleinasien. München, 1957, стр. 169 и след. и др. Ср. у Гомера: Ψ 236 и след., Ω 785 и след.

сили костер (ukturi) пивом, вином и ритуальным напитком walhi, сложили кости в сосуд, наполненный растительным маслом, затем вынув их из него, завернули в ткань и положили на особый стул или скамейку (если умершей была женщина), рядом поставили стол с хлебом и другой едой, приняли участие в ритуальном пиршестве, трижды совершив возлияние и трижды напив душу умершего. Лишь после этого SALŠU.GI приступает к исполнению своих обязанностей: она берет весы, на одну чашу кладет серебро, золото и драгоценные камни, на другую — кусок глины; называя имя духа мертвых, она обращается к своей спутнице (следует диалог)¹³. О SALŠU.GI еще известно, что она держит весы перед солнечным богом и произносит обращенную к нему магическую формулу¹⁴; что она собирает пепел и высыпает его там, где были сожжены конские и бычьи головы¹⁵; что она как-то связана с хлебом¹⁶ и вином¹⁷ и имеет какое-то отношение к лугу¹⁸. Этим, собственно, исчерпываются наши сведения о SALŠU.GI, так как некоторые другие упоминания о ней в этих текстах фактически ничего не добавляют (ср. XXX 25+XXXIV 68+XXXIV 4. Vs., 18, 21; XXX 24a+XXXIV 65, 6, 17; может быть, XXX 15+XXXIX 19, 22, где не исключена возможность реконструкции SALŠU.GI)¹⁹. Зато наши представления о SALŠU.GI существенно расширяются и уточняются в свете другого большого хеттского текста, посвященного ритуалу Туннави²⁰. Здесь SALŠU.GI — жрица, ведущая обряд очищения культово нечистых людей²¹: *na-aš-ta SALŠU.GI an-da ki-iš-ša-an me-ma-i ka-a-ša-kán NÍ.TE hu-u-ma-an-da ša-aḥ-ḥi-iš-ki-mi nu-uš-ši-kán kat-ta ki-ša-a-an e-eš-du i-da-lu pa-ap-ra-tar al-wa-za-tar a-aš-ta-ia-ra-tar DINGIR. MEŠ-aš kar-pi-iš ag-ga-an-ta-aš ḥa-tu-ga-tar* (III, 1—5) — «и тут SALŠU.GI произносит следующее: я чищу теперь все члены; пусть с него будут счищены: дурная нечистота (и) колдовские чары, грех (и) гнев богов, страх перед

¹³ Ср. KUB XXX 15+XXXIX 19, 26 и след: *nu SALŠU.GI GIŠNUN[UZ] ZI-BA-NA [da]-a-i nu-uš-ša-an/-e <-da>-az KUBABBAR GUŠKIN NA₄ ḪI.A -ia hu-u-ma-an-du-uš da-a-i [I]-e-da-az-ma-aš-ša-an šal-ū-i-na-an da-a-i [nu^S]AL ŠU.GI SAL a-re-eš-ši me-na-aḥ-ḥa-an-da ki-iš-ša-an me-ma-i GIDIM -[m]a-kán SUM-an ḥal-za-a-i [ú] e-da-iz-zí-ḡa-ra-an UM-MA ŠU-UM nu-ḡa-ra-an ku-iš ú-e-da-[-i]-z-zí [SAL]a-ra-aš-ši-ša te-ez-zi LÚMEŠ URU ḥat-ti-ḡa-ra-an LÚMEŠ URU ḥat-ti-ḡa-ra-an LÚ MEŠu-ru-uḥ-ḥi-e[š] ú-e-da-an-zi и т. д.*

¹⁴ Ср. KUB XXX 24a+XXXIV 65, 8 и след.: *SALŠU.GI DUTU-i me-na-aḥ-ḥa-an-da e-e-p-zi [me-mi-iš-ki?-iz-z]i DUTU-i ka-a-ša-ḡa-ták-kán ke-e [...]-jen nu-ḡa-ra-at-ši-iš-ša-an šar-ri[-iz-zi le-e] [ku-iš-ki ḥa-a]n-na-ri-ia-ḡa-aš-ši-iš-ša-an le[-e ku-iš-ki].* Ср. Н. Otten. Hethitische Totenrituale, стр. 59: [...] hält [die «W»eise Frau] vor den Sonnengott hin [und spricht]: «O Sonnengott, siehe dir diese [Tiere] schlachte[ten wir, nun [soll] es sie ihm nie[mand] entreis[sen,] ni[emand] ihm gerichtlich anfechten!»

¹⁵ Ср. KUB XXXIX 14, 13 и след.: *ḥa-aš-uš-ma SALŠU.GI ša-ra-a da-a-i nu SAG.DUMES [AN]ŠU.KUR.RAMES SAG.DU GUDḪI.A ku-ḡa-pi ḡa-ra-an-da-at nu-uš a-pi-ia iš-ḥu-u-ḡa-i.*

¹⁶ Ср. XXX 24. Vs. II, 7: *NINDA KUR₄. RA-ma-za ŠA I ŠA-A-TI SALŠU.GI da-a-i*, «но SALŠU.GI берет ковригу хлеба в I ŠATU».

¹⁷ Ср. XXXIX 17. Vs. II, 5 (испорченное место): *GE/ŠTIN SALŠU.GI «[в]ино SALŠU.GI»* (перед этим упоминается NINDA 'хлеб'; ср. отчасти KUB XXXIX 22. Vs. Kol. II, 2, 8: *I DUG GEŠT/IN ... SALŠU.GI «1 сосуд вина ... SALŠU.GI»*).

¹⁸ Ср. KUB XXX 24a+XXXIV 65, 23—24; Н. Otten. Hethitische Totenrituale, стр. 15, 139.

¹⁹ См. Н. Otten. Ein Bestattungsritual, стр. 216—217.

²⁰ A. Goetze, E. Sturtevant. The Hittite Ritual of Tunnawi. New Haven, 1938.

²¹ О том, кто к ним относится, см. Tunnawi I, 1—6.

мертвым!» Эта сторона деятельности *SALŠU.GI* может отчасти объяснить ее функции в ритуале похорон, тем более, что многие ее действия и связанные с ней предметы весьма напоминают то, что о ней говорилось выше. *SALŠU.GI* обращается к солнечному богу: «Солнечный бог, мой господин!...» (IV, 8, 17, 25) и приносит ему жертву; она связана с костью и плотью (*ḥa-aš-ta-i mi-i-lu-li* — II, 9, 11; I, 46), с глиной и глиняными фигурками (в частности, речь идет и о фигурке быка из глины, ср. I, 43; II, 62—63), с хлебом и вином (III, 43; IV, 1, 4, 5), с произнесением заклинаний (I, 57).

В свете сказанного проявляются некоторые черты бабы-яги и ее окружения. Как и *SALŠU.GI*, она всегда старуха. Эта черта весьма устойчива; баба-яга скорее заменяется животным, чем лишается, оставаясь в человеческом образе, признаков старости²². Ритуальное прошлое бабы-яги и сравнение ее с хеттской *SALŠU.GI* объясняет наличие наряду с бабой-ягой — злой похитительницей ипостаси доброй вещуньи, помогающей герою в его странствиях, которые являются прообразом посмертных скитаний души. Остается не вполне определенным, следует ли представлять бабу-ягу как искони нейтральный персонаж, бесстрастно оценивающий покойника с целью определения его дальнейшей судьбы, или же более целесообразно видеть в бабе-яге уже с самого начала две ипостаси — добрую и злую — в зависимости от того, с чьей точки зрения она оценивается (ср. сказку Перро о двух сестрах: одна из них за добрый поступок вознаграждена старухой — бабой-ягой — тем, что при каждом ее слове из ее рта выпадает драгоценный камень; другая же за злой поступок наказана тем, что при каждом ее слове из ее рта выпрыгивает лягушка²³).

Весьма важной чертой поведения бабы-яги нужно признать то, что она стремится сунуть героя в огонь, в печь, посадив его предварительно на лопату. По-видимому, эта черта может быть объяснена различно, в частности, как отражение обряда инициации²⁴. Тем не менее, кажется весьма вероятным, что здесь содержатся и более непосредственные воспоминания об обряде похорон, сопровождавшем трупосожжение, ср. связь *SALŠU.GI* с костром (*uktuṛi*), на котором сжигают покойников, а также поучительное место из KUB XXX 15 + XXXIX 19, 3—4: *ḥa-aš-ta-i iŠ-TU la-ap-ra KUBABBAR da-aš-kán-zi na-at-kán A-NA Ī.DUG. GA ḥu-u-pár KUBABBAR an-da ...* «Кости серебряной *lapra* (лопаткой? щипцами?) берут они и кладут в масло, в серебряный *ḥur-par* (сосуд)».

Мотив взвешивания, проводимого *SALŠU.GI*, возможно, прослеживается (в измененном виде) в сказке «Ведьма и солнцева сестра» из афанасьевского собрания: исход взвешивания определяет судьбу Ивана-царевича, спасающегося от ведьмы (= бабы-яги). Разумеется, этот мотив достаточно популярен с давних пор (ср. взвешивание сердца покойного на судилище в религиозных представлениях древних египтян)²⁵, однако для нас существенно не то, что он встречается в русской сказке, а то, что он помогает уточнить ситуацию, с которой связана баба-яга, а через эту ситуацию — и функции самой бабы-яги. Любопытно, что в этой же

²² Эта черта, конечно, не случайна. О роли старейшего в ритуале см. J. A. K. Thompson. *Studies in the Odyssey*. Oxford, 1914, стр. 54.

²³ Ср. P. Saintyves. Указ. соч., стр. 13. Как известно, соответствующий ритуал еще сохранялся до последней войны в некоторых отдаленных районах Франции.

²⁴ См. В. Я. Пропп. Указ. соч., стр. 83 и след.

²⁵ Ср. идею посмертного судилища в «Книге мертвых».

сказке содержится обращение героя к солнцу: «Солнце, солнце! отвори оконце»²⁶, напоминающее аналогичные призывы SALŠU. GI.

Этими совпадениями далеко не исчерпываются параллели между хеттской SALŠU. GI и славянской бабой-ягой: они обнаруживаются и в обстановке, окружающей этих персонажей. Кое-какие сходства несомненны и существенны. Поэтому именно о них будет идти речь ниже²⁷.

Баба-яга (даже если она выступает в качестве дарительницы) неотъемлемо связана с костными останками: ограда вокруг ее дома — из костей и черепов, она сама — «костяная нога», и это — самая распространенная ее характеристика. В. Я. Пропп сделал немало ценных замечаний о том, как нужно понимать костеность бабы-яги и ограду из костей и черепов²⁸. Многие из этих замечаний бесспорны. Однако, учитывая некоторые детали русских сказок (любая баба-яга — «костяная нога») и то, что SALŠU. GI. имеет дело практически только с костными останками, не исключена возможность отражения в сказке о бабе-яге реально существовавшего образца обряда захоронения костей, из описания которого, собственно, и выросла ставшая потом самодовлеющей и мотивированной языком символика смерти, соединенная с образом костей и черепа (Ср., между прочим, *navya kostochka* или лит. *novės kaulas*, лтш. *veļu kauls*). Это символическое «поле» стало со временем настолько влиятельным, что даже имя Кошца, изофункционального бабе-яге, стало осмысляться через связь с названием кости (об этом свидетельствует не только ряд очевидных попыток народно-этимологического характера, но и некоторые «ученые» этимологи). Крайне интересно, что в хеттских текстах не раз отмечено слово *É hešta* — «дом кости, костных останков» (ср. *LÚMEŠ É hešta* — «люди дома кости»²⁹, ср. еще *É haštišas*). Связь этих слов с названием кости (хеттск. *haštai*, *haštišant*- и целый ряд интересных в словообразовательном и семантическом отношении производных, лув. *hašša*-) очевидна; столь же очевидно этимологическое родство хеттского слова со славянским *kostь*. В плане реалий привлекает внимание то обстоятельство, что *É hešta*

²⁶ Известный в русских сказках мотив запрета открывать окно на время отъезда одного из действующих лиц отмечен в хеттском мифе о драконе Иллуянкаше (эпизод, в котором участвуют Inaraš, Hupašijaš).

²⁷ Тем не менее, может оказаться, что некоторые второстепенные на первый взгляд детали некогда были весьма важны. Между прочим, не исключена возможность, что следует обратить особое внимание на то, что избушка бабы-яги всегда находится на лужайке или поле (хотя и среди леса). Ср. *Ü. SAL* «поляна» как существенный элемент ритуала погребения мертвых у хеттов (см. H. Otten. *Hethitische Totenrituale*, стр. 139). Еще поучительнее мнение П. Тиме, согласно которому полянка или луг, на котором пасется скот, выражают общеноевропейские представления о потустороннем мире (ср. вед. *gavyūti*, др.-греч. *λαίφον* и др.). См. P. Thieme. *Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte*. Berlin, 1952, стр. 46 и след., отчасти V. Pisanì. *VOLZ*, Bd. XLVIII, 1953, стр. 122 и особенно W. P. Schmid. *Die Kuh auf der Weide*. — IF, 64, 1958, стр. 1—12. К сожалению логика мифа и ритуала, вступая в спор с логикой художественного произведения, затрудняет исследователю путь к доказательству (во всяком случае, именно так обстоит дело в отношении этой детали в русской сказке о бабе-яге).

²⁸ В. Я. Пропп. Указ. соч., 50—51, 56 и след., 99. См. также С. Я. Лурье. Дом в лесу. — «Язык и литература», т. VIII, 1932, стр. 159—193.

²⁹ Об *É hešta* см. E. Laroche. *Recherches sur les noms des dieux hittites*. Paris, 1947, стр. 74; J. Friedrich. *Hethitisches Wörterbuch*. Heidelberg, 1952, стр. 63, 68; A. Goetze. *Hattušiliš. Der Bericht über seine Thronbesteigung nebst den Paralleltexten*. — MVAeG, Bd. 29, N 3, 1925, стр. 104 (IV, 75); ег. же. *Die Annalen des Muršiliš*. — MVAeG, Bd. 38, N 4, 1933, стр. 265. H. Otten. *Die Gottheit Lelvani der Boğazköy-Texte*. — JCS, IV, N 2, стр. 129 и след.; Т. В. Гамкрелидзе. Хеттский язык и ларингальная теория. Тбилиси, 1960, стр. 26—27.

и LÚMES É *hešta* тесно связаны с божеством подземного царства Лелвани³⁰, соответствующей аккадской богине с теми же функциями ALLATUM. С другой стороны, можно думать о связи Ё. NA₄ 'каменный дом', в котором хранились костные останки мертвых, перенесенные с места кремации, с Лелвани и с Ё *hešta*. Если окажется, что это действительно так, то избушка бабы-яги максимально сблизится с Ё. NA₄: в известном смысле они даже могут рассматриваться как тождественные, с той разницей, что первая из них изображена в сказке, а второй — в описании ритуала. Во всяком случае их сопоставление сразу же обнаруживает ряд сходств: изолированное положение Ё. NA₄ и избушки бабы-яги; в Ё. NA₄ хранятся драгоценные металлы³¹, баба-яга также прячет в своей избушке золото, серебро, медь (еще отчетливее выступает этот мотив, когда речь идет о Кощее или Змее, замещающих бабу-ягу); в «каменном доме» хеттов запасена пища для мертвых, точно так же в избушке бабы-яги героя, как это ни странно, кормят³². Возможно, что перечень сходств мог бы быть продолжен при условии, что хеттский материал расширяется за счет описания ритуального пиршества, а славянский — за счет привлечения данных, относящихся к некоторым архаичным обрядам (тема накрытого стола³³ и скамьи, уставленной разными предметами; несколько неожиданное упоминание плуга³⁴ и ряда животных, в том числе — лошади³⁵; особая роль кровати: у хеттов в ритуале похорон костные останки складываются на кровать, баба-яга — «костяная нога» часто возлежит именно на кровати).

Можно высказать еще ряд предположений о конкретных деталях, объединяющих хеттскую SALŠU. GI и славянскую бабу-ягу и, возможно, подтверждающих основную мысль этой статьи о реальном образе бабы-яги. Однако, вероятно, было бы осторожнее просто обратить внимание на некоторые частности, требующие специального анализа, ср. проблему называния героя по имени в сказке о бабе-яге и выкликание имени покойного в хеттском ритуале (XXX 25 + XXXIV 68 + XXXIV 4, 20), вопросы к герою, задаваемые бабой-ягой, испытание сном, некоторые эротические мотивы, связанные с бабой-ягой³⁶, атрибуты материнства³⁷ и т. п. Разумеется, далеко не все может быть установлено и определено с помощью сравнительного анализа. В ряде случаев те или иные детали сказки получают более простое объяснение в фактах, донесенных до нас историей или археологией (ср., например, избушку

³⁰ См. о ней E. Laroche. Указ. соч., стр. 75; H. Otten. Die Gottheit Lelvani der Boğazköy-Texte.

³¹ H. Otten. Hethitische Totenrituale, стр. 132.

³² О соответствующей черте в представлениях других народов см. В. Я. Пропп. Указ. соч., стр. 53 и след.

³³ Ср. устойчивую в славянском фольклоре цепь символов, соединяющих описание пира и смерти.

³⁴ Ср. XXXIX 6, 11; ср. обычаи, бытовавшие в Польше, класть накануне Рождества на стол какую-либо часть плуга. См. А. А. Потебня. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. М., 1865, стр. 6.

³⁵ Ср. мотив конской головы в хеттских ритуальных текстах и в русских сказках.

³⁶ Напомним, что в ритуале Туннави SALŠU. GI, в частности, восстанавливает половые способности мужчин и женщин.

³⁷ Ср., между прочим, одну из наиболее вероятных этимологий слова *hašaurāš*: от *hašš* 'рожать', ср. *haš(sa)nu* 'помогать при родах'. Связь между идеей смерти и материнства, плодородия относится к числу хорошо известных, ср. E. Baume-gartel. Tomb and Fertility. — «Jahrbuch für kleinasiatische Forschung», Bd. I, 1950, стр. 56—65 (ср. относящийся сюда любопытный древнеегипетский документ, опубликованный А. Гардинером в «Journal of Egyptian Archaeology», vol. 16, стр. 19 и след.).

бабы-яги на высоких столбах и сосуды с пеплом или костными останками покойников, устанавливавшиеся также на столбах). Однако — это тема специального исследования.

Здесь же в заключение достаточно ограничиться двумя замечаниями. Первое. Известное уточнение образа бабы-яги может быть достигнуто при анализе персонажей, которые в определенных условиях заменяют ее (полностью или частично) или вообще обнаруживают определенные точки соприкосновения. В этом смысле целесообразно привлечь к анализу не только образы Кощея или Змея, но и Костромы — Кострубоньки, так как, по нашему убеждению, обряд, связанный с ними и выродившийся в игру, по существу, является чем-то вроде бурлескной интерпретации одного из фрагментов древнего ритуала смерти — возрождения и, следовательно, может рассматриваться как еще одно отражение реально существовавшей ситуации. В этой связи небесполезно использование всех относящихся к этой теме материалов (включая и хеттский миф об Иллуянкаше). Второе. Этимологический подход к решению исследуемого здесь вопроса, естественно, менее эффективен, чем типологический. В данном случае его значение заключается, пожалуй, прежде всего в том, что он позволяет определить степень мотивированности сказки или мифа со стороны языка (и, следовательно, уточнить различие между реальной внеязыковой ситуацией и текстом, описывающим эту ситуацию) и способ интерпретации тех или иных сказочных и мифологических образов с помощью народной этимологии (и тем самым установить некоторые связи, существенные для данного коллектива).

В. П. Гудков

ПАРАЛЛЕЛЬ ИЗ ИСТОРИИ ФОРМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В СЕРБСКОХОРВАТСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

История форм будущего времени является образцом осуществления тенденций развития, общих для всей славянской языковой группы в своеобразных условиях отдельных языков. Эти формы сложились во всех славянских языках. В каждом языке им присущи свои особые черты, но притом между разными языками наблюдается и сходство развития.

Процесс формирования будущего времени изучен неполно, важные стороны этого процесса продолжают вызывать споры. Существует много работ по русскому языку, в которых в той или иной мере рассматривается история будущего времени, но многие вопросы все еще не получили удовлетворительного ответа. Дальнейших успехов в этой области можно ожидать от исследования тех древнерусских памятников, которые еще не использовались для этой цели. Но, конечно, не исключено, что возможен более глубокий и плодотворный анализ уже известных данных. Уяснению развития русских форм будущего времени может помочь сравнение с аналогичными фактами других славянских языков. Насколько нам известно, русисты искали соответствий в истории будущего времени между восточнославянскими и западнославянскими языками, но никто не обращался в этой связи к южнославянским языкам. Между тем в древних текстах сербскохорватского языка есть факты, которые позволяют представить в ином свете некоторые явления древнерусского языка.

Среди глаголов, служивших в древних славянских языках в качестве показателя будущего времени, был глагол с индоевропейским корнем **-et-*. Мы приводим здесь только корень потому, что существовало несколько образований от этого корня, которые не всегда разграничиваются лингвистами. А. Мейе различал три глагола:

- 1) *jьtq* (ст.-сл. *имж*) с инф. *ѣти* 'братъ';
- 2) *кѣм'ѣж* (3 л. ед. ч. *кѣмѣтъ*) с инф. *имати* 'братъ';
- 3) **jьtati* (ст.-сл. *имамь*, польск. *tat*) с инф. на *-ě-*, обозначающим состояние *jьteti* (ст.-сл. *имѣти*)¹.

В старославянском языке сочетание *имамь* с инфинитивом служило для выражения будущего времени. Полагая, что в данном случае старославянские памятники отражают явление, свойственное всем древним славянским диалектам, лингвисты видят в некоторых конструкциях, свойственных отдельным славянским языкам, тот же глагол *имамь* или его модификацию. В древнерусском языке будущее время выража-

¹ А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 163.

лось, в частности, сочетанием форм *иму*, *имешь* с инфинитивом. В какой связи находится *иму* с глаголом *имамь*?

П. С. Кузнецов писал, что в древнерусском языке «широко используются сочетания инфинитива с *имамь* (впрочем, для 1-го л. ед. ч. в связи с разрушением старых форм нетематического спряжения устанавливается форма *иму*)»². Одним глаголом считает формы *имамь* и *иму* и Т. П. Ломтев³.

Соответствует ли это действительности?

В старославянском языке, согласно А. Досталу, тщательно изучившему глагольную систему, различались глаголы *ѣти*, *имѣти* 'схватить', 'взять', 'поймать' совершенного вида и *имѣти*, *имѣти* и *имамь* 'иметь', 'держат' несовершенного вида⁴. П. С. Кузнецов, применительно к русскому языку, объединяет эти два глагола в один: «Глагол *имамь* — *ѣти* (< *jeti*) имел самостоятельное значение 'брать'...»⁵.

Каково же происхождение древнерусского *иму*? Является ли он вариантом формы *имамь* или самостоятельным образованием? Это далеко не праздный вопрос. Конструкция *иму*+инфинитив играла очень большую роль в истории форм будущего времени. С. П. Обнорский писал о сохраняющихся в русских говорах старых способах образования будущего времени: «Особенно обильны (сравнительно) данные с употреблением буд. вр. при помощи формы *иму*»⁶. Формы с *иму* есть и в белорусских диалектах, но особенно широко они распространены в украинском языке, где *ходитиму* наряду с *буду ходити* является литературной нормой. У лингвистов, занимавшихся украинским языком, нет общепризнанного объяснения происхождения форманта *-му*. А. Крымский выводил его из *имамь*⁷, и это мнение излагается в некоторых курсах истории украинского языка⁸. Иное толкование дал С. М. Кульбакин. Он писал: «Форма *му* получилась из *иму*..., т. е. из формы наст. вр. к инфинитиву *ѣти*...»⁹.

В условиях, когда история форм будущего времени с *иму* (*му*) в восточнославянских языках остается не совсем ясной, мы считаем целесообразным прибегнуть к данным древнесербского языка. Попытаемся выявить картину употребления интересующих нас форм в деловых памятниках сербскохорватского языка и затем сравнить полученные результаты с материалом древнерусского языка.

В древнесербских памятниках в соответствии с современным глаголом *имати*, *имам* 'иметь', 'обладать' часто встречаются формы *име* — *има* (3-е л. ед. ч.) и *имут(ь)* — *имаю* (3-е л. мн. ч.). Дж. Даничич в своем историческом словаре различал глаголы *имати* 'habere', 3-е л.

² П. С. Кузнецов. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959, стр. 239.

³ Т. П. Ломтев. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956, стр. 65—66.

⁴ A. Dostál. Studie o vidovém systému v staroslověnině. Praha, 1954, стр. 70—71 и 192.

⁵ П. С. Кузнецов. Указ. соч., стр. 236.

⁶ С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953, стр. 161.

⁷ О. Шахматов, А. Крымский. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'яток писемної старо-українщини XI—XVIII вв. Київ, 1924, стр. 104—105.

⁸ См., например, С. П. Бевзенко. Нариси з історичної граматики української мови. Морфологія. Київ, 1953, стр. 160—161.

⁹ С. М. Кульбакин. Украинский язык. Харьков, 1919, стр. 80. Так же и в книге: Т. В. Баймут, М. К. Бойчук [и др.]. Порівняльна граматика української і російської мов. Київ, 1957, стр. 156.

мн. ч. *имаю* и *кти* 'сареге', 3-е л. мн. ч. *имут(ь)*¹⁰, указывая, что оба глагола употреблялись для выражения будущего времени. Позже, в книге «История форм сербского или хорватского языка», учитывая, вероятно, то, что старославянский глагол *имамъ* имел 3-е л. мн. ч. *имѣтъ*, Дж. Даничич отнес древнесербскую форму *иму(ть)* к глаголу *имати*, *имам*. Он писал: «Еще с начала XIII века этот глагол в этой форме (имеется в виду *иму*. — В. Г.) перешел в глаголы пятого разряда первой группы, к которым он принадлежит по инфинитиву: *имаю*...»¹¹. Первая группа пятого разряда — это глаголы с *-а-* в инфинитиве и настоящем времени (*имати*, *имам*). Ниже будут приведены примеры, показывающие, что последнее утверждение Дж. Даничича ошибочно. Форма 3-го л. мн. ч. *иму* обнаруживает значение совершенного вида, не свойственное глаголу *имам*, а значит, не может быть в числе форм этого глагола.

А. Белич в статье по истории будущего времени и в лекционном курсе исторической грамматики не дал подробного анализа интересующих нас форм, ограничившись традиционной формулировкой: «Глагол *имати* с инфинитивом передает различные модальные значения, но употребляется с первых наших памятников и как выразитель будущего времени...»¹².

Обратимся к древнесербским памятникам.

В древнесербских грамотах XIII—XIV вв. одновременно употреблялись формы *име* и *има*. Они встречаются в одних и тех же текстах, иногда в одной и той же фразе. Между ними наблюдаются существенные различия в употреблении и значении. Формы *име* и *иму(ть)* выступают в придаточных предложениях, а также в независимых побудительных предложениях — после частицы *да*. Формы же *има* и *имаю* употребляются одинаково и в независимых и в придаточных предложениях. Это важно отметить. В сербскохорватском языке глаголы совершенного вида издавна не выражают будущего времени в независимых предложениях. Значит, форма *име* (*иму*) обладала значением совершенного вида, тогда как *има* — значением несовершенного вида.

Кроме различия в виде, между *име* и *има* существовали и семантические расхождения. Форма *име* фигурирует в древнесербских памятниках только в сочетании с инфинитивом, служа показателем будущего времени, и не обнаруживает конкретного лексического значения. Форма *има*, напротив, ярко проявляет лексическое значение 'иметь', 'обладать' и, кроме того, служит для выражения долженствования и будущего времени.

«И ако кто вашь врагъ приѣѣне ѿ мою землѣ да ви га даь ако ви *име* цю пакостити из мое землѣ» (Пов., ок. 1215, стр. 3) — «И если кто-нибудь из ваших врагов перейдет в мою землю, я выдам его вам, если он будет вредить вам из моей страны»; «аце ли ѿ себѣ сама *иметь* бѣсновати се, ѿставляючи своѣго моужа, дааце има добитькъ, добиткомъ да наказует се...» (М., 1222—1228, стр. 14) — «и если она сама будет бесноваться, оставляя своего мужа, пусть наказывается штрафом, если у нее есть средства...». В этом отрывке ясно разли-

¹⁰ Ћ. Даничић. Рјечник из књижевних старина српских, кн. I—III. Београд, 1863—1864.

¹¹ Ћ. Даничић. Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVII вијека. Београд, 1874, стр. 292.

¹² А. Белић. О постанку српско-хрватских глаг. облика *нећу*, *ћу* и сл. — «Глас Српске краљевске академије», CXII. Други разред. 63, Београд, 1924, стр. 16.

чаются формы *иметь* и *има*: *иметь* в сочетании с инфинитивом *бѣсовати се* выражает будущее время, а *има* — конкретное лексическое значение 'иметь'.

«да аще кто прѣстоупити и *иметь* разарати нѣчто шть сего прѣданаго тебѣ, кто любо боудеть прѣтвараѣ сиа, не тѣмъ да ꙗ повиннь... нъ и анатѣма ꙗмоу боуди...» (М., 1222—1228, стр. 15) — «...если кто нибудь преступит и будет нарушать...».

Очевидное значение будущего времени имеет форма *име* и в следующих отрывках: «и аще второу женоу пойметъ, да дасть шслоухоу подобноу пръвоу или кто по таковомъ женоу дасть, иже не *име хѣтити* своѣ възлеци, то и ты да оупадаѣтъ оу такоже наказаниѣ, ꙗкоже и поустивии» (М., 1222—1228, стр. 14—15); «аще ли кто *иметь* сѣ светок (место) нечимъ шбидети... такови да ксть проклетъ...» (М., 1233, стр. 18); «кравеѣство ми створи имъ милость, до колѣ правдоу *имоуть имѣти* кравеѣствоу ми, коупци ихъ да си ходе по земли кравеѣства ми безъ боѣзни...» (М., 1240—1272, стр. 50); «а дѣбровъчаномъ да дамо керѣмъ, ако *у имѣтъ потребовати*» (М., 1247, стр. 31); «и ако людѣ... *имѣтъ исыкати* некою правинѣ... да ми бѣдемо дръжани шнемъ чинити правинѣ...» (М., 1253, стр. 37); «а таковыи, кои *име пакостити* томоу мѣстоу, ꙗо записа кравѣѣство ми... или *име* кои соудъ двизати на прѣковъ оу тои земли, да плати...» (М., 1305—1307, стр. 68); «И да ксть нераздѣлимъ монастырь отъ пирга, и пиргъ отъ монастыря нъ што не *име имѣти* пиргъ, да моу даѣ монастырь, и да не има порока никагоре и што не *име имѣти* монастырь, да моу пода пиргъ...» (Зак. спом., ок. 1308. стр. 477); «Оу коѣмъ любо селѣ кои любо маисторъ, ако *име имати* много сыновѣ, ꙗдинъ отъ нихъ на отчизнѣ мѣстѣ да ошакъ а инии да соу работъници» (Зак. спом., 1313—1318, стр. 627); «и ако се наиде кои годѣ чловѣкъ шдѣ земле кравеѣства ми... кѣди га *име исыкати* кравеѣство ми или чловѣкъ кравеѣства ми, да да кнезь дѣбровъчѣки и властеле дѣбровъчѣди пристава момѣ чловѣкъ и да погю ѣ Стонь и ѣ Рѣть да га ише с моимъ чловѣкомъ» (М., 1334, стр. 108); «аке ли чловѣкъ кравеѣства ми не шбрѣте никѣднаго чловѣка шдѣ землѣ кравѣѣства ми, а кравеѣство ми не *име вѣровати*, кре ксть сикози, да нарече кравеѣство ми четиремъ или петимъ властеломъ дѣбровъчѣкимъ...» (М., 1334, стр. 108); «Кѣто ли се наиге отъ таковыхъ *име сикъ разарати*, а не исыплънати... клетва више писанънаго на немъ да прѣбиваеѣтъ» (Зак. спом., 1343, стр. 413); «Дадохъ моу обѣштаниѣ и клетвоу кравеѣства ми всакоую волю емоу и хотѣниѣ сѣвршити, ꙗже *иметь просити* оу кравѣѣства ми» (Зак. спом., 1343, стр. 410); «Калоугкриѣ да соу оу послоушаниѣ игоумена и прѣвѣныхъ брать, а кто ли не *име слоушати*, да се изведе ись порте» (Зак. спом., 1348—1353, стр. 698).

Глагол *има*, в отличие от *име*, широко употребляется в значении 'иметь', 'обладать': «И ако се кто наиде продавъ вино с водомъ... да мѣ се все ѣзѣме, ꙗо *има*» (М., 1222—1228, стр. 17). — «...да будет у него взято все, что он имеет»; «И азъ видехъ, кре не *има* где тежати...» (М., 1233, стр. 18). Здесь не *има* — 'нет', 'не имеется'. «Да не *има* надъ ними швласть ни вельможа ни архиепискѣпъ» (Там же); «...до колѣ стое сь мновь ѣ правдѣ кою *имамъ* с вами» (М., 1234—1240, стр. 27).

Значение формы *има*, выступающей в сочетании с инфинитивом, в некоторых случаях трудно определить с достаточной убедительностью. Многие примеры обнаруживают значение долженствования, которое так тесно граничит со значением будущего времени, что иногда их нельзя разделить. Например: «И кѣга ѣ насъ ѣстрѣбѣкши помоки по морѣ:

и подемo ти на помокъ: да ны простишь тога лѣта все: что *имамо* законъ *давати*» (Пов., 1234—1235, стр. 13) — «...да простишь нам в тот год все, что мы должны по закону давать...» Значение *имамо давати* совершенно ясно — это долженствование. «И цю вамъ говори милошь моѣ сѣ ричи *имате* га *вѣровати*» (Пов., 1355, стр. 72) — «...и что вам говорит Милош, это мои слова, вы должны ему верить»; «послахъ къ вамъ нашего властеличиѣа гоюка за *цнь* доходькъ нашъ кои ми *имате дати*...» (Пов., 1387, стр. 86) — «...за нашим доходом, который вы должны (имеете) дать»; «посласмо к вам: нашего: срьдчаного слѣдѣ: кнеза станомъ елашьчиѣа: за наше работе: а наилише: за дохотьке наше срьбске: ки се *има дати* на дмитровъ дань двѣ тисѣщи: перьперь: а стоньски *има се дати*: на дань стога власи пет сать перьперь...» (Пов., 1392, стр. 176) — «...которые должны быть даны в Дмитриев день...»; «и *кѣ* се *цбѣтъѣ* кракъѣвство ми, ако кто *име цю говорити* или *насиловати* градъ Дѣбровникъ за сизи доходькъ, кои *имаю давати* кракъѣвствѣ ми, да *има* кракъѣвство ми *цтъ* тога нѣхъ *бранити*, и *помагати*...» (М., 1378, стр. 188) — «и еще обещаю я, если кто-либо будет что-нибудь говорить или оказывать давление на Дубровник в связи с доходом, который они (дубровчане) должны (будут?) давать мне, да буду я должен их защищать...» Сочетание *имаю давати*, вероятно, надо понимать как 'должны давать'. Это не бесспорный пример, но интересно, что в одном отрывке соседствуют *име* и *има*. Видимо, для писца каждый из них был носителем определенного значения. Если *име* обладал значением будущего времени, то *има* в первую очередь означал долженствование и только через долженствование — будущее время.

Пример с неясным значением *има*: «кто хоке сикъ повторити, не малъ гнѣвъ и наказаниѣ *има въсприкти цтъ* кракъѣвства ми» (М., 1234, стр. 20). Действие, выраженное в сочетании *има въсприкти*, является следствием действия, содержащегося в придаточном предложении: «кто это нарушит...» Сказуемое главного предложения можно толковать двояко: как будущее время — «не малый гнев и наказание воспримет от меня» или как выражение долженствования — «должен воспринять».

Сочетание *има* с инфинитивом употребляется в распоряжениях, наказах, обязательствах, для которых характерны выражения и конструкции, передающие долженствование. Вот отрывки из заветания: «и такое *има* Медое ѣ Мильтоша едьного вола, *има* Милтошь *дати* Медою четвертинѣ всега что е ѣсѣль» (Пов. II, 1392, стр. 463); «И такое ѣ Мильбрата *има* ѣа вола, и *има имити* Медое осми дель что е ѣсѣль Мильбратъ всега мала и велика» (Там же); «речено село Лисаць, Трьновица, Имотица есѣ Дѣбровникѣ с приморьемъ дани, и за то *има бити* властель и *цпѣнѣ* дѣбровьчкѣ...» (М., 1405, стр. 255).

В предложениях с побудительной частицей *да* в сочетании с инфинитивом встречается как *име*, так и *има*, но преобладают случаи с *има*. Предложений с частицей *да* в текстах очень много, однако значение глаголов *има*, *име* бывает в них обыкновенно затемнено побудительным значением оборота с частицей *да*.

Ср.: «и ако кто прибегне *цдѣ* гнѣва кракъѣвства ти ѣ градъ нашъ, *да* ѣ насъ стое никоегаре зла *да не име чинити* земли кракъѣвства ти» (М., 1254—1256, стр. 48) — «и кто бежит от гнева твоего в наш город и находится у нас, да не будет чинить зла земле твоей». Здесь *да не име чинити* одинаково можно рассматривать как 'да не будет чинить', 'да не должен чинить', 'да не чинит'. «И ѣсе сие приписанье *да имамо* и *хокемо дръжати*...» (М., 1253, стр. 39) — 'должны и будем' или 'должны и хотим'?

В конце XIV в. форма *име* выходит из употребления. В «Законнике» Стефана Душана, древнейшие списки которого датируются концом XIV в., форма *име* еще встречается. Грамоты XV в. представляют этот глагол лишь в исключительно редких случаях: «Попь кои не има свога стаса: да мою се даде .г. нивѣ законите; ...ако ли га господарь не *име хранити* по закону, да доиде къ своему ар'хiereю.» (Зак.; стр. 53); «Господинь царь кѣди *име сына женити* или крыштение... да вьсакъ поможе малъ и великъ» (Зак., стр. 98).

Глагол *има* в грамотах XV в. употребляется по-прежнему, т. е. не исчезает подобно *име*, и, по крайней мере, в тех случаях, где отчетливо видно его значение, выступает как глагол долженствования. Например: «w-тогаи сребра више писаного имали сѣ 8 три плате wть доходакъ кралевства ми, кое *имамо имавати wть* кнеза и wть властew...» (М., 1461, стр. 490) — «...доход, который мы должны иметь...» «смиш-лае нашwмъ паметью запwведъ божию и проценѣ свѣтовнѣ, како *има чwвекъ живwтовати* са всадиемъ с правwмъ правдwмъ...» (М., 1470, стр. 507) — «...заповедь...как должен человек жить с каждым спра-ведливо; «да бѣде и да *има бити wви исти заѣмъ за пѣнѣ платѣ* про-вижиюна за годице, кое ходи сада, а *има се саврышити* 8 литихъ христовихъ .чѣѣи.» (М., 1467, стр. 502—503) — «да будет и да должен быть...», «год... который должен окончиться...» В другом случае значение долженствования отступает на второй план, так как главное здесь не то, что год должен окончиться, а то, что он окончится. Вот еще такие примеры: «а wвои за годице, кое *се има сврышити* .ч. и .ѣ. и .ѣ. и .ѣ. лѣто рождаства христова...» (М., 1478, стр. 520); «даю знати всиѣмъ и всакомѣ, комѣ се подѣба, саданиѣмъ и наприкѣдъ кои *имаю бити*...» (М., 1453, стр. 457) — «даю знать всем... нынешним и тем, которые будут затем...» В *имаю бити* есть значение будущего времени, но это будущее особого рода: не просто 'будут', а 'которым придется быть', 'которые имеют быть'. Следовательно, в этом сочетании значение будущего соединено со значением долженствования. Ср. подобный пример из грамоты XIII в. «а *я* с моимъ люди кои *имаю* и сѣ кои *имаю имети*...» (Пов., 1254, стр. 27).

В современном сербскохорватском языке глаголу *имати*, *имам*¹³ также, наряду со значением 'иметь', 'обладать', свойственно значение долженствования.

Итак, формы *име* и *има* (*имѣ*, *имаю*), из которых первая употреблялась в сербских памятниках XIII—XIV вв., а вторая живет вплоть до наших дней, принадлежали разным глаголам. Они имели различную грамматическую характеристику: *име* был глаголом совершенного вида, а *има* — несовершенного. Глагол *име* в сочетании с инфинитивом выражал будущее время, а *има*, кроме значения 'иметь', 'обладать', служил для передачи долженствования, непосредственно связанного с понятием будущности.

Вернемся к русскому языку.

Древнерусские тексты представляют сочетание *иму* + инфинитив одним из регулярных способов выражения будущего времени. В. И. Борковский, исследовав 219 грамот XI — начала XIII вв., писал: «Типичной для грамот формой будущего описательного является форма с глаголом *иму* — 44 случая (52,4% случаев с будущим описательным)...». И далее: «В московских (28 случаев) грамотах..., а также рязанских (два случая)

¹³ Заметим, кстати, что сербскохорв. *имати* не является эквивалентом ст.-сл. *имати* 'братъ', но представляет сербское образование от *имам* 'имею'.

грамматах — это единственные формы будущего сложного»¹⁴. Большое количество примеров с *иму* привел П. С. Кузнецов¹⁵. Он считает форму *иму* и под. преобразованием глагола *имаѣ* на русской почве. Это весьма сомнительно. Кроме ссылок на старославянский язык, в памятниках которого будущее время выражалось конструкцией *имаѣ* + инфинитив, нет никаких оснований выводить русский глагол *иму* из *имаѣ*. Достаточно выразительный материал был собран еще И. И. Срезневским. В «Материалах для словаря древнерусского языка» четко различаются глаголы *имѣти*, *имаѣ*, *имѣю* 'habere' и *ѣти*, *иму* 'взять'. И. И. Срезневский указывает, что и тот и другой глагол служат в сочетании с инфинитивом для выражения будущего времени. Рассмотрим приведенные им примеры. Глагол *имѣти*, *имаѣ*, *имѣю* иллюстрируется цитатами либо из церковнославянских памятников, либо из текстов, язык которых испытал заметное влияние церковнославянского языка. Два примера из грамоты могут истолковываться в смысле долженствования. Совсем из иных источников взяты примеры к глаголу *ѣти*, *иму*. Все цитаты выбраны из памятников деловой письменности, главным образом, из грамот. Это свидетельствует о том, что древнерусской народной речи был свойствен именно глагол *ѣти*, *иму*, имевший значение совершенного вида, а отнюдь не *имаѣ*. Напомним в связи с этим слова А. А. Потебни: «От вышерассмотренного *имаѣ* — *имѣть* следует отличать в ст.-русском *иму*, *имѣши*, *имѣть* с неопр., которое предполагает вещественное значение не 'иметь', а 'брать', а в грамматическом отношении уже в древнерусском может быть совершенно. В отличие от *имаѣ*, оно сочетается с неопр. накл. только глаголов несовершенных и образует с ними будущее начинательное...»¹⁶.

История форм будущего времени открывает очевидные совпадения древнерусского и древнесербского языков и вместе с тем обнаруживает древние диалектные расхождения. В древнерусском и древнесербском языках для выражения будущности служил, в частности, глагол *иму* в сочетании с инфинитивом, тогда как в старославянском языке для этой цели использовался *имаѣ*, а глагол *имѣ* употреблялся лишь в своем конкретном лексическом значении. Этот факт лишний раз показывает, как осторожно нужно пользоваться старославянским материалом при восстановлении древних славянских языковых отношений.

Изучение формы будущего времени с глаголом *иму* в истории славянских языков должно быть продолжено. Возможны два направления дальнейших исследований. Следует, во-первых, выяснить историю самого глагола *ѣти* во всех славянских языках и, во-вторых, отношение форм *иму* к другим формам будущего времени. В свое время В. И. Чернышев с сожалением отмечал, что будущее время с *иму*, свойственное русским говорам, не изучается в сравнении с обычными формами с *буду*, и потому неясны взаимоотношения этих форм, различия в значении и употреблении между ними¹⁷. Можно добавить, что еще более актуальной и важной является эта задача для украинского языка, в котором формы на *-му* играют большую роль.

¹⁴ В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Львов, 1949, стр. 147, 148.

¹⁵ П. С. Кузнецов. Указ. соч., стр. 239—241.

¹⁶ А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. т. I—II. М., 1958, стр. 358.

¹⁷ В. И. Чернышев. Описательные формы наклонений и времен в русском языке. — «Труды Института русского языка», т. I, 1949, стр. 236.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- М. — Fr. Miklosich. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Viennae, 1858.
Пов. — Љ. Стојановић. Старе српске повеље и писма, кн. I. Београд — Ср. Карловци, Први део, 1929.
Пов. II — Љ. Стојановић. Старе српске повеље и писма, кн. I. Други део, 1934.
Зак. спом. — Ст. Новаковић. Законски споменици српских држава средњег века. Београд, 1912.
Зак. — Ст. Новаковић. Законик Стефана Душана цара српског. Београд, 1898.
-

Г. П. Клепикова

**К ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ИМЕННЫХ
И ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ**
(по материалам говора с. Тихомир, округ Кырджали)

Село Тихомир¹ (старое название Терзюрен) расположено в 35 км. южнее г. Крумовграда в долине р. Крумовица. В селе живут болгары мусульманского вероисповедания (1200 чел.). С древних времен вплоть до недавнего времени население занималось исключительно производством обуви («еминии»), которая находила хороший сбыт по всей области Родоп и в Беломорской Фракии². Теперь основным занятием жителей села является земледелие.

* * *

Впервые говор с. Тихомир был изучен в связи со сбором материала для «Болгарского лингвистического атласа» в сентябре 1959 г.; тогда же нами был собран материал для настоящей статьи³.

По ряду характерных черт фонетики (например, рефлексy ст.-сл. ѣ, ъ, ж, ѡ) и морфологии (например, тройная членная форма -от, -ос, -он, -та, -са, -на, -те, -се, -не) говор с. Тихомир может быть отнесен к среднеродопскому⁴, или смолянскому⁵, говору. Однако в говоре с. Тихомир отмечен ряд морфологических особенностей, неизвестных пока не только родопским, но и вообще болгарским диалектам. Рассмотрению некоторых из этих особенностей и посвящена данная статья.

**1. ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
(CASUS RECTUS)
И ОБЩЕГО КОСВЕННОГО ПАДЕЖА
(CASUS GENERALIS OBLIQUUS)**

Противопоставление именительного и общего косвенного падежей имен существительных в говоре с. Тихомир наблюдается только в мужском и женском родах единственного числа.

¹ В печатающемся «Болгарском диалектологическом атласе» («Български диалектен атлас. Т. I. Юго-източна България») это село указано под номером 4956.

² Ст. Шишков. Из долината на р. Арда. Пловдив, 1936, стр. 23.

³ Пользуемся случаем выразить нашу искреннюю благодарность преподавательнице болгарского языка в г. Тополовграде Зл. К. Томовой, передавшей в наше распоряжение ряд ценных сведений о говоре, собранных ею в марте 1960 г.

⁴ А также «центральнородопскому» (Die Zentralmundart), по определению Л. Милетича, см.: L. Miletič. Die Rhodopemundarten. Wien, 1912, стр. 99 и след.

⁵ Это название употребляется в настоящее время, см.: Ст. Стойков. Българска диалектология. София, 1956, стр. 71.

А. Форма *Casus rectus* существительных мужского рода единственного числа по происхождению является формой старого именительного падежа (например, *вор^h*, *гор^h*, *снѣк*, *чулѣк*, *з'от'* — нечленная форма; *вар^hот*, *гарб^hот*, *снег^hот*, *чулѣк^hот*, *з'от'ет* — членная форма). В основе же *Casus generalis obliquus* мужского рода единственного числа лежит форма старого родительного падежа как для одушевленных, так и для неодушевленных имен существительных, а именно: форма на -а (-'е).

В отличие от некоторых родопских говоров, сохраняющих лишь остатки старого родительного падежа⁶, в говоре с. Тихомир противопоставление прямого падежа и общего косвенного падежа (восходящего к старому родительному) носит регулярный характер. В нашем говоре можно говорить о сохранении остатков других старых падежей, например, дательного: *ше да дад^hот к^hопелуте*, *т^hо ѝ б^hратеем сыну сын^hот* и под.

Приведем некоторые примеры нечленной формы *Casus generalis obliquus*; одушевленные имена существительные: *ат^hида^h* на *ста^hра д^hеда*, *ас дру^hга б^hрата*, *а^hй^hк сына*, *ас чу^hлѣка*, *ср'ошина^h* а^hй^hк чу^hлѣка, на *гал^hѣматок сына*; неодушевленные имена существительные: *аф ба^hцелѣка*, *ас ег^hлѣка*, *ше з^hем^hм ка^hса*, *шарла^hгана*, *с^hытеме^h* п^hоткваса, на *лу^hка*, *ат с^hнѣга*, на *д^hама*, *исп^hича му лѣба*, на *п^hот'е*, *аф с^hон'е*, *а^hй^hк ден'е*, *ас ти^hрен'е*, *прав^hодиме^h* м'ет'ун'е, *пак си ѝ надѣна^h* фустан'е, *за д^hнбеш лѣф'е*, *т^hо ѝм^hот д^hва т'ут'ун'е*, *аф ед^hи са^hат'е*.

Достаточно часто употребляются формы на -а (-'е) в ответах на вопрос: «Что это?». Например, при вопросе «Что это?» («Какво е това?») мы получали ответ: *в^hдска*, *мѣда*, *лѣда*, *к^hнса*, *в^hдл'к'е*. Следует подчеркнуть, что в той же ситуации, наряду с формами типа *в^hдска*, возможны и членные формы именительного падежа существительных: *васк^hот*, *мед^hот*, *лед^hот*, *канс^hот*, *вал'к'ет*. Кажется заманчивым отождествить эту форму на -а (-'е) с членной формой именительного падежа без конечного -т. Такие членные формы (типа -ъ, но -ъс, -ъи) известны в некоторых родопских говорах: Давидково, Лыджа⁷, Момчиловци (все — Смолянский округ). В говоре с. Момчиловци утрата конечного -т в членной форме, по мнению Ст. Кабасанова, зависит от места ударения в слове: *дом^hо*, *заб^hо*, но *чилѣкат*⁸. Однако, что касается приведенных выше форм, употребляющихся в с. Тихомир (типа *в^hдска*, *мѣда*, *лѣда* и под.), то наличие конечного -а, -'е (а не -о, -ѐ, -е, которые должны были бы сохраняться по аналогии с полными членными формами, например, *гарб^hот*, *чулѣк^hот*, *денѣс* и под.) и место ударения в этих формах заставляют думать, что данные формы являются нечленными формами общего косвенного падежа.

Членные формы *Casus generalis obliquus* существительных мужского рода единственного числа образуются с -те, -се, -не. Приведем не-

⁶ Ср., например, *vola* (L. Miletich. Die Rhodopemundarten, стр. 136), *sina*, *kop'a* (Оряхово, Павелско) (там же, стр. 51); *гнѣва*, *засн^hа п^hрва с^hона* (Момчиловци, р-н Смоляна) (ИИБЕ, кн. IV, стр. 77); та са сме *дара дарили* (Асеновград) (СБНУ, кн. XXXIX, ч. 1, 1934, стр. 198), нах б^hала *гр^hда* (Дядово) (там же, стр. 89).

⁷ С. Давидково (по нумерации «Болгарского диалектологического атласа» — 4210): *в^hрхѣ*, *г^hрбѣ*, *ла^hгерѣ*, *с^hнѣ*, *м^hумѣ*, *сн'агѣ*, *ст^hдлѣ*, *л'ѣфѣ*, *чел'ѣкѣ*, *врисѣ*, *денѣ*, *зѣте*, *м^hжѣ*, *к^hоне*, *занаѣте*, *мурафѣте*, *чейзѣ*, *ад^hинѣ*, *гол'ѣмѣ* *м^hал'кѣ*, *ср'ѣднѣ* но: *в^hрхѣн*, *градѣн*, *зѣбѣс*, *врисѣн*, *денѣс*, *м^hжѣс*, *таванѣн*, *м^hумѣн*, *чел'ѣкѣс*, *зѣтен*, *к^hонен*, *к^hонес*, *шам^hарес*; с. Лыджа (4690): *ветерѣ*, *зѣбѣ*, *носѣ*, *синѣ*, *сн'агѣ*, *с^hнѣ*, *денѣ*, *г^hрбѣ*, *в^hл'кѣ*, *м^hжѣ*, *л'ѣба*, *вирѣ*, *дѣбѣ*, *фенѣре*, *чейзѣ*, *офчѣре*, но: *зѣбѣс*, *квасѣн*, *носѣс*, *с^hнѣн*, *в^hл'кен*, *г^hрбѣс*, *лѣкѣтѣс*, *г^hрбан*, *к^hрѣгас*, *л'ѣбан*, *д'ук'ѣнен*, *в^hукан*, *офчѣрен*, *пѣтен*, *пѣтес* (используются материалы «Болгарского диалектологического атласа», хранящиеся в Институте славяноведения АН СССР и в Институте болгарского языка БАН).

⁸ Ст. Кабасанов. Говорът на с. Момчиловци, Смолянско. — ИИБЕ, кн. IV, София, 1956, стр. 40.

сколько примеров; одушевленные существительные: *вѣѣм на брѣтате, на дѣдате, жѣна на мѣже да га испѣда чулѣкате, вар^h кѣнете, ат кѣпелете, жѣвѣм на сынѣте, при бубѣйкесе*; неодушевленные существительные: на *вар^hѣте, на гарбѣте, за грѣѣте, аф крагѣте, на лукѣте, пепелѣте фѣрнимеⁿ га, ас пѣскаѣте, дѣде мⁿ на умѣте, аф кармѣте, на кансѣте, ат кадѣте, чел корѣнате, аф дендѣмане, и ножѣте ше да забѣе на тавѣнате, ас имрѣкасе, лѣте правимеⁿ, ат врисѣне, на ѣѣте, на ченгѣлете, аф кетѣпесе, искѣрѣѣт кетѣпесе, вар^h самѣрене, аф нѣтене, аф байрене, оди на метѣпене, ат савѣтесе палѣчи^h, да дѣѣѣт аф савѣтене.*

Такие же членные формы общего косвенного падежа *-те, -се, -не* употребляются в селах, расположенных восточнее с. Тихомир; это села Девисилово, Голям Девисил, Малык Девисил, Девисилица, Лимец⁹, Горни Юруци¹⁰. Сходная форма отмечена в западных болгарских говорах, например, в говоре г. Ниша, где наряду с формами косвенного падежа одушевленных имен существительных мужского рода на *-тога*, употребляется и сравнительно новая форма на *-та* (типа *волѣта*). Форма на *-та* встречается также в Кюстендильском крае: *та си бѣну царѣта, та га мѣтна конѣта*¹¹. Аналогия западноболгарской формы на *-та* (типа *волѣта*) с формой на *-те*, употребляющейся в с. Тихомир (типа *вар^hѣте*), налицо.

Членная форма *-та* в западноболгарских говорах возникла или путем контаминации форм на *-тога* и на *-а* (*попѣтога + попѣ > попѣта*), или путем сокращения *-тога > та*. Происхождение форм на *-те, -се, -не* в говоре с. Тихомир также неясно; конечное *е* в указанных формах, возможно, следует объяснить как результат ассимилирующего влияния предшествующего слога в таких случаях, как (*аф*) *денѣте, (аф) нѣтене*. По аналогии с подобными формами на *-те, е* появилось и в случаях: (*на*) *брегѣте, (аф) снегѣте* и под.

Интересно, что морфемы *-те, -се, -не* являются членными формами не только в *Casus generalis obliquus* имен существительных, но и прилагательных и местоимений единственного числа: *тѣ ѣѣ на мѣкте брѣта, мѣшкакте завѣт, срѣнакте завѣт, ѣган ѣт за умрѣнакте ш да зѣмне, четѣт нѣшекте корѣна*; наконец, *-те, -се, -не* являются членными формами сохраняющегося старого дательного падежа существительных, прилагательных и местоимений: *децѣмте дѣва лѣба, тремѣнамте пѣче лѣба, дрѣгомте бѣлката ѣ ат гѣрнѣѣт махлѣ, и мѣлкомте такѣ направи^x он, нѣшимте децѣм, мѣцкамте вѣли, мѣемте сыну данѣса^х бн.*

В. В говоре с. Тихомир противопоставление *Casus rectus* и *Casus generalis obliquus* имен существительных женского рода единственного числа, как и существительных мужского рода единственного числа, проводится очень последовательно¹². Форма *Casus rectus* является по

⁹ По данным архива «Болгарского диалектологического атласа»: *долѣт, гарбѣт, снегѣт, брегѣт, крагѣт, праѣт, ѣфѣт, станѣт, мѣѣт, конѣт, воскѣт, но: нѣе сме ав долѣте, вритⁿ на гарбѣте носиме, валиш ѣѣ по снегѣте, на брегѣте ше варѣй, мѣсиме на крагѣте, вѣгаш праѣте, нѣкѣ сториме от мѣѣте, вѣзва конѣне, от воскѣте, од врисѣне, на денѣсе, на краѣсе.*

¹⁰ По данным архива атласа: *градѣт, брѣгѣт, но: брѣгѣте, сас рогѣте, даждѣте, грѣѣте, на станѣте, денѣсе, краѣте, кадеѣште, клѣѣте.*

¹¹ Б. Симеонов. Членная форма в переходните говори. — «Езиковедско-этнографски изследвания в памет на акад. Ст. Романски», София, 1960, стр. 386.

¹² В некоторых болгарских говорах обнаруживаются остатки старого именительного падежа; например, в с. Кюлевча (р-н Коларовграда): *izliza udŕta hŭbaa*, но: *zŕrŕd udŕta se kŕrat* (L. Miletić. Das Ostbulgarische. Wien, 1903, стр. 105); чаще всего форма старого именительного падежа заменяется формой *Casus generalis*, восходящей к старому винительному падежу.

своему происхождению старым именительным падежом; форма *Casus generalis obliquus* существительных женского рода восходит к старому винительному падежу. Противопоставление именительного падежа и общего косвенного падежа на *-y* (<ст.-сл. ж) наблюдается и в некоторых западноболгарских говорах¹³: трынском¹⁴, в селах бывш. Брезникской¹⁵, Кюстендильской¹⁶ и Белоградчикской¹⁷ околий, а также в некоторых родопских селах (Кюстандово и Ракитово)¹⁸.

Приведем некоторые примеры нечленной формы *Casus generalis obliquus* имен существительных женского рода единственного числа: *ката*, *бесѡлнѣ* *ранѡ*, *бацѡ*, *на дръгѡнѡ* *д'ун'ѡ*, *надѣнѡт* *алацѡ*, *аф мацѡ*, *постѣлѡт* *намацѡ*, *вые* *выкате* *арѡ*, *рѡкле* *през еѡ*, *ас парѡ*, *правимѣ*^н *каварѡ*, *на тавѡ* *сыпѡваме*^н *вѡѡ*, *ас гѡлѡ* *главѡ*, *ты аѡ* *жѡнѡ* *на мѡжеши* *да глѡдаши*, *на рѣѡ*, *аф аѡ* *чѣнѡ*, *ше надѣнеш* *рѡклѣ*, *седѣ*^н *аѡ* *месѣѡчѡнѡ* *аф тѡс* *кошѡтѡ*, *аф венѡчѡфѡ*, *Крѡшѡ*, *Талѡскѡ* (названия местностей около села), *на Гарѡйѡ*, *ас сѡѡ*^ѡ.

Примеры членной формы *Casus generalis obliquus* существительных женского рода: *од'ом на вадотѣ, на главотѣ, ат казотѣ, да сѣ на зберѣт аж жанѣтѣ с', аф ракодѣ, вар^h тревѣтѣ, на земѣтѣ, на касабѣнѣ слезлы, аф уштинѣнѣ, аф средѣтѣ, салнѣ зймаме", ат парснѣ гы изрѣме", жѣнеме" рашнѣ, аф ма^хлѣсѣ, вар^h с'унѣтѣ, аф рѣкѣнѣ, пат кѣштѣнѣ, при грамѣдѣтѣ, на вадѣнсѣтѣ, ас тѣкторкѣсѣ, при мѣйкѣтѣ, на партѣйѣтѣ, на рѣптѣ аф пѣштѣсѣ, мѣкѣтѣ вѣтре с' мыслиш, аф пѣчкѣтѣ аф нѣвѣнѣ, ас чѣнтѣсѣ, аф мѣнѣсѣ. Очень редко встречаются формы типа: *хат' на вартѣна*.*

2. ФОРМЫ 3-ГО ЛИЦА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА МЕСТОИМЕНИЙ

Система личных местоимений в говоре отличается рядом особенностей. Среди них следует упомянуть о генерализации полной формы старого дательного падежа 1 и 2-го л. ед. и мн. ч. в качестве *Casus generalis obliquus*: *лудѡва за мѡне* (<ст.-сл. *мѡнѣ*), *агы м' видѡла нам аны жѡна, ас вам*¹⁹. Наряду с этим встречаются примеры сохранения

¹³ Цв. Тодоров. Северозападните български говори. — СбНУ, кн. ХLI, 1936, стр. 272—273; подробнее о распространении формы *Casus generalis obliquus* на -у в северо-западной Болгарии см. также: Г. П. Клепикова. К вопросу о происхождении формы *Casus generalis* существительных женского рода единственного числа *a*-основ в болгарском языке. — СМБД, вып. 9, 1958, стр. 98—99.

¹⁴ Д. И. Господинкин. Трънчаните и трънският говор. — ИССФ, кн. IV, София, 1921, стр. 176—177; Д. Хр. Петричев. Принос към изучаване на трънския говор. — ИССФ, кн. VII, 1931, стр. 51; П. Байкушев. Народни песни и приказки. А. По трънски говор. — ПСП, кн. XI, София, 1884, стр. 104—139.

¹⁵ А. Бунджолов. Текстове от гр. Брезник (и с. Д. Романци). — БЕ, № 4, София, 1953, стр. 377—379; Ц. Младенов. Текстове от с. Режанци, Брезнишко. — БЕ, № 3, 1955, стр. 263—264.

16 Ст. Стойков. Христоматия по българска диалектология. София, 1954, стр. 54.

17. А. Берберска. Говорът на с. Опане, Белоградчишко. — ИССФ, кн. VII, стр. 97.

¹⁸ L. Miletič. Die Rhodopemundarten, стр. 200, 217.

¹⁹ Это же явление, как следует из материалов «Болгарского диалектологического атласа», представлено в некоторых других родоских говорах: Букovo (4666), Ерма река (4681), Наделино (4752), Старцево (4754), Златоград (4758), все — Смолянскoгo oкpyгa. Аналогичное положение и в павликанском говоре: *toj nam venčava, ot nam iskat* (L. Miletič. Die Rhodopemundarten, стр. 92; см. его же: Павликянско наречие. — СбНУ, кн. XXVI, София, 1912, стр. 5). Мы не учитываем данных значительной группы говоров (например, говоры в долине р. Марицы и некоторые родоские), в которых в функции дательного падежа употребляются ана-

старого творительного падежа: *намы, катры е дойден с ва́мы*²⁰. Здесь мы подробнее остановимся на другой особенности местоимений, а именно, на формах косвенных падежей 3-го л. ед. ч. всех родов. Ниже приводим парадигму склонения этих местоимений.

	М. р., Ср. р.	Ж. р.
Им. пад.	<i>то</i>	<i>тѣ</i>
Дат. пад.	<i>тѹму, тѹмуне</i>	<i>той</i>
Вин. пад.	<i>тѹга</i>	<i>тыѣ, тый</i>

Вот несколько примеров дательного падежа; мужской и средний род: *тѹму ѥ мѹчно за сына́те; на дава́он тѹму, да да́де и тѹму ала́, том' на со́ ра́пти, тѹмуне избе́гат брѹтот аф тѹрчи́нене, тѹмуне со́ родѹ мо́м'ече; женский род: той про́водѹлы алтѹне, той со́ ви́дел чу́зд чу́лѣк, той сыно́т ѥе аф Ка́шукава́к, той кла́даон ѥмето Айшѣ.*

Примеры винительного падежа; мужской и средний род: *ат тѹга до́де а́бер; айѣ бе́гѹм на тѹга; то до́де по́-напрѣш и слат тѹга и а́цета; за тѹга лафѹво́т — имѣл галѣмѹ ко́штѣ аф ка́сабо́но; тѹга га ба́ли; женский род: нѣма дру́гѣ ката тѹѣ; а́ч на а га́лѹм и е́рг'ум лафѹво́м за тѹѣ грѹзна; тѹѣ уби́лы аф ба́йрене, а́гы са́бѹрала дарва́; тѹѣ мѹда ца́фво́т; тѹѣ га́лѣ мо́ет сын, ѥште да а зѣ́ме за жо́но; тѹѣ ба́ли нѣ́кно; варѹѣме' ас тѹй аф по́тене.*

Известно, что в восточноболгарских говорах, а также в литературном языке, именительный падеж личных местоимений 3-го л. ед. ч. восходит к именительному падежу старого указательного местоимения *тѣ, то, та*, а дательный и винительный — соответственно к старым дательному и винительному падежам указательного местоимения *и (ѣ), к (ѣ), ѡ (ѣ)*²¹.

Приведенные выше формы типа *тѹму, тѹга* пока не известны ни в одном болгарском говоре, кроме говора с. Тихомир, и представляют собой редчайший случай использования в качестве личного местоимения 3-го л. ед. ч. всей сохранившейся парадигмы (именительный, дательный и винительный падежи) склонения старого указательного местоимения *тѣ, то, та*.

Притяжательные местоимения (типа литературных *негов, неин*) образуются от формы винительного падежа указанных личных местоимений: *тѹгаф, тѹгава*²², *тѹгавы* (и *тѹгав'ет, тѹгафта, тѹгафте* — членные формы) и *тѹн'ет, тѹната, тѹныте* (< **тѹйният* и под.)²³.

Личные формы типа *на нѹму, на нам, на вам*, наряду с формами винительного падежа типа *него (нѣга)* и формами дательного падежа типа *на нѣго (на нѣга)* и под., так как в этих говорах отсутствует генерализация формы старого дательного падежа в качестве *Casus generalis obliquus*. Явление генерализации формы старого дательного падежа известно некоторым македонским говорам: *нам, вам* (вин., дат.) (М. Григоров. Говор на малореканците в Дебърско. — ИССФ, кн. II, София, 1907, стр. 267).

²⁰ Интересно, что в соседнем с Тихомиром селе Егрек (4957) во множественном числе (1 и 2-м л.) генерализовалась форма старого творительного падежа: *на́ми бо́лѣ стомѹ, кѹто на́ми до́дет, гра́ за на́ми, ѥдат на на́ми, на́ми мѹдоу уби́ча ѥту́ѹѹ чел'ѹк, за на́м ѥе у́буу, на на́ми по́мага́т, на ва́ми, с ва́ми до́йдена, на ва́ми ше до́ам.*

²¹ Ст. Стойков. Българска диалектология, стр. 128.

²² В говоре безударное *о* произносится как *а* (так называемое «родопское аканье»); подробнее см., например: L. Miletic. Die Rhodopemundarten, стр. 115), поэтому формы среднего рода в этом местоимении совпадают с формами женского рода: *тѹгава* < *тѹгово, тѹгава; тѹната* < *тѹнѹто, тѹната*.

²³ Притяжательные прилагательные подобного типа зафиксированы в юго-западных македонских говорах: *тѹгоф, тѹгово, тѹгава, тѹгове* (A. Mazon. Docu-

3. ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕННИЯ

В качестве относительных местоимений употребляются: *ажит*, *аждта*, *ажата*, *ажите*; другие относительные местоимения (например, *който*, *дето*) неизвестны.

Примеры относительных местоимений; мужской род: *тазик*, *ажит бѣ сѣ напѣл*; средний род: *кидѣ атиде тос кѣпеле*, *аждт' испадашо*²⁴ *ас мѣне на Кырцел*; *бѣлна ѥ дѣтета на камѣѣ*, *ас аждта мѣтета *оди на метѣпене*; *сази дѣте*, *аждт' скѣршило цѣмене*; женский род: *таж жѣна*, *ажата пѣнала аф рѣкѣнѣ*; *аф кѣшитѣтѣ*, *аждтѣ ѥ жѣвѣм*, *тѣ бѣ стѣрѣна на прѣт кѣрксанѣ*; *есѣзикне вѣлно*, *ат аждтѣ правѣме*²⁵ *цорѣне*; *бѣрата*, *ат аждтѣ зѣмаме*²⁶ *вѣдѣ*, *исѣнала*; *ѣде ат атпрѣш наж жѣна*, *ажѣйте умрѣ дѣтета*; множественное число трех родов: *нѣзикне*, *ажите скѣршили камѣнате*.

Аналогичное местоимение: *жѣату* отмечено в говоре с. Кетенлик, расположенного к югу от с. Тихомир, на территория Греции²⁴.

По происхождению местоимения типа *ажит*, *ажата* восходят к старым указательным местоимениям *и(же)*, *ѣ(же)* и под., на что указывал еще Б. Цонев: *жѣату < иже — то*²⁵.

4. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ГЛАГОЛА

А. Для говора с. Тихомир характерно окончание 1-го л. ед. ч. настоящего времени на -м (в глаголах всех трех спряжений); при этом односложные глаголы оканчиваются на -ѣм (-ѣм), а многосложные — на -ѣм (-ѣм), так как в многосложных глагольных формах настоящего времени ударение всегда переносится с конечного слога на предпоследний.

Приведем примеры глаголов I спряжения: *бѣрѣм*, *зѣвѣм*, *кѣдѣм*, *кѣвѣм*, *кѣлѣм*, *ѣрѣм*, *пѣсѣм*, *пѣкѣм*, *пѣрѣм*, *сѣкѣм*, *зѣвѣжѣм*, *ѣштѣм*, *пѣчѣм*, *чѣшѣм*, *зѣмнѣм*, *кѣдѣкѣм*, *мѣкѣм*, *пѣнѣм*, *пѣмогнѣм*, *стѣнѣм*, *жѣнѣм* *сѣ*, *ѣдѣм*, *бѣйѣм*, *мѣйѣм*, *пѣйѣм*, *пѣйѣм*, *рѣйѣм*, *шѣйѣм*, *сѣмѣм* *сѣ*²⁶.

Примеры глаголов II спряжения: *вѣрѣвѣм*, *дѣйѣм*, *кѣрѣйѣм*, *пѣрѣмѣм*, *сѣдѣвѣм*, *тѣрѣмѣм*, *бѣгрѣмѣм*, *вѣлѣмѣм* *сѣ*, *вѣдѣмѣм*, *вѣдѣмѣм*, *вѣлѣмѣм*, *гѣлѣмѣм*, *гѣнѣмѣм*, *гѣтѣвѣмѣм*, *дѣрѣжѣмѣм*, *дѣрѣбѣмѣм*, *кѣжѣмѣм*, *кѣлѣмѣм*, *кѣрѣмѣм*, *кѣсѣмѣм*, *лѣжѣмѣм*, *лѣпѣмѣм*, *лѣубѣмѣм*, *мѣрѣмѣм*, *мѣлѣмѣм*, *мѣслѣмѣм*, *нѣправѣмѣм*, *нѣсѣмѣм*, **дѣдѣмѣм*, *пѣлѣвѣмѣм*, *пѣмнѣмѣм*, *рѣнтѣмѣм*, *рѣнѣмѣм*, *сѣдѣмѣм*, *сѣврѣмѣм*, *стѣрѣмѣм*, *сѣпѣмѣм*, *фѣулѣмѣм* *сѣ*, *спѣмѣм*.

Примеры глаголов III спряжения: *афпѣсѣвѣмѣм*, *бѣрѣмѣм*, *бѣгѣмѣм*, *вѣскѣснавѣмѣм*, *вѣкѣмѣм*, *гѣлѣдѣмѣм*, *дѣлѣмѣм*, *дѣпѣрѣмѣм*, *зѣбарѣвѣмѣм*, *излѣзѣмѣм*, *испѣдѣмѣм* 'выгонять', *исфѣркѣмѣм*, *кѣжавѣмѣм*, *кѣлѣмѣм*, *лѣфѣвѣмѣм*, *лѣдѣвѣмѣм*, *мѣдѣштѣмѣм*, *пѣзнѣвѣмѣм*, *пѣпѣтѣвѣмѣм*, *пѣтѣкавѣмѣм*, *пѣлѣтѣмѣм*, *пѣдѣмѣм*, *пѣравѣмѣм*, *пѣрѣстѣйѣмѣм* *сѣ*,

ments, contes et chansons slaves de L'Albanie du Sud. Paris, 1960, стр. 68). Эта же форма приведена в «Дополнении» к словарю Н. Герова: *тогов* 'негов' (стр. 306).

²⁴ Ст. Шипков. Дребни езикови бележки от един непознат до сега родонски говор. — РН, год. V, Станимака, 1907, стр. 6.

²⁵ Б. Цонев. Кои новобългарски говори стоят най-близу до старобългарски в лексикално отношение. — СпБАН, кн. XI, 1915, стр. 13; ср. также: И. Попович. Сербскохорватско-болгарские лексические этюды (Заметки по славянской лингвистической географии). — «Славянское языкознание. Сборник статей», М., 1959, стр. 44.

²⁶ В отличие от других глаголов, сохраняющих при спряжении в настоящем времени показатели спряжения -е-, -и-, -а- (например, *бѣрѣм*, *бѣрѣш*... *вѣрѣвѣм*, *вѣрѣйш*... *бѣгѣм*, *бѣгаш*...), глагол *зѣм* имеет следующую парадигму настоящего времени: *зѣмѣм*, *зѣнѣш*, *зѣнѣ*, *зѣмѣте*, *зѣнѣте*, *зѣнѣтѣ*.

пѣтѣм, рѣпкѣм, скарафѣсѣм, сѣм, сѣрбѣм, стѣгѣм, сыпѣвѣм, флѣзѣм, гѣвѣм, жѣвѣм, ѣгрѣм, кѣпѣм.

В говоре, таким образом, наблюдается -м в окончаниях 1-го л. ед. ч. настоящего времени всех глаголов и наличие гласного -ѣ (-ѣ) перед -м. Мы полагаем, что в глаголах I и II спряжений произошло выравнивание по III спряжению²⁷, поэтому к окончанию -ѣ (-ѣ) < ст.-сл. ж присоединяется -м; в глаголах III спряжения произошло выравнивание гласного флексии -а- по окончанию глаголов I и II спряжений. Такое явление известно в некоторых македонских говорах²⁸. Несколько иное положение существует в говоре Девисилово, Голям Девисил, Малык Девисил, Девисилица, Лимец. В этом говоре, по нашему мнению, произошло обобщение окончаний 1-го л. ед. ч. настоящего времени по окончаниям I и II спряжений, поэтому в 1-м л. ед. ч. настоящего времени глаголов III спряжения находим окончание -ѣ: *купѣвѣ, сандѣвѣ, рѣдѣ, фѣтѣ* и под.²⁹

Б. Для говора с. Тихомир характерно окончание 1, 2, 3-го л. ед. ч. имперфекта -шѣм:

Например:

1 л. <i>ѣ</i>	<i>предѣшѣм</i>	<i>лежѣшѣм</i>	<i>живѣшѣм</i>	<i>даѣшѣм</i>
2 л. <i>ты</i>	<i>предѣшѣм</i>	<i>лежѣшѣм</i>	<i>живѣшѣм</i>	<i>даѣшѣм</i>
3 л. <i>то,</i> <i>тѣ</i>	<i>предѣшѣм</i>	<i>лежѣшѣм</i>	<i>живѣшѣм</i>	<i>даѣшѣм</i>
	<i>мѣжѣшѣм</i>	<i>ѣдѣшѣм</i>	<i>шѣшѣм</i>	<i>бѣгаѣшѣм</i>
	<i>мѣжѣшѣм</i>	<i>ѣдѣшѣм</i>	<i>шѣшѣм</i>	<i>бѣгаѣшѣм</i>
	<i>мѣжѣшѣм</i>	<i>ѣдѣшѣм</i>	<i>шѣшѣм</i>	<i>бѣгаѣшѣм</i> ³⁰ .

В говоре произошло обобщение окончаний единственного числа имперфекта; форма 2—3-го л. стала употребляться и в 1-м л. — об этом свидетельствует появление в 1-м л. -ш < ст.-сл. -(ѣ)ш(ѣ).

Явление обобщения окончаний единственного числа имперфекта по 2—3-му л. известно и некоторым другим болгарским (родопским³¹ и

²⁷ Это явление известно в северо-западных говорах (см. карту к статье: Ст. Стойков. Глаголното окончание -ме в българския книжовен език. — «Сборник в чест на академик А. Теодоров-Балан по случай 95-годишнината му», София, 1956), а также в юго-восточных говорах к югу от р. Арды (за исключением некоторых сел бывш. Ивайловградской области) и в говорах к западу и юго-западу от Хасково (по данным «Болгарского диалектологического атласа»).

²⁸ Так, в нижневардарском говоре: -ум, -ом (< ж + -ам), *плѣтум, нѣсум, купѣвум* (МПр, кн. VIII, стр. 102, 109, 136); Кукуш: *вѣкнум, знѣум, плѣтум* (СбНУ, кн. XVIII, стр. 463); Джевджелие: *ѣдум, пѣшѣм* и *сѣком да ѣдѣм, глѣдѣм* (МПр, кн. VIII, стр. 55), *мѣльѣм* (МПр, кн. II, стр. 120), *мѣсьѣм, вѣзом, вѣмом, прѣтѣм, плѣтѣм, нѣсом* (МПр., кн. III, стр. 104, 105, 108, 110); Кукуш, Дойран: *мѣтѣм, прѣдѣм, рубѣвум* (МПр, кн. X, стр. 113—114); Дойран: *ѣмум, нѣсум* (МПр, кн. IX, стр. 166); Смилево, р-н Битоля (переселенцы из Галичника, р-н Дебра): *ѣмрум, даѣдум* (МПр, кн. VI, стр. 110, 113); Прилеп: *вѣкѣм, но тѣрам, нѣсам* («Годишен сборник. Филозофски факултет на Универзитетот», кн. 2, Скопје, 1949, стр. 253, 283, 286).

²⁹ Это явление можно истолковать и иным образом: возможно, что в говоре указанных сел вообще отсутствовало -м в окончаниях глагола, ср.: С. Б. Бернштейн. Об одной особенности глагольной флексии единственного числа настоящего времени в юго-восточных говорах Болгарии (в печати).

³⁰ Исключение составляет глагол *сѣм* 'быть', имеющий в единственном числе имперфекта парадигму: *ѣ, ты, то (тѣ) бѣ*.

³¹ По данным «Болгарского диалектологического атласа» это явление отмечено нами в селах Девисилово, Голям Девисил, Малык Девисил, Девисилица, Лимец: 1, 2, 3-е л. *берѣшо, плѣтѣшо, четѣшо, варѣшо, нѣжошо, стѣшо, доѣшо, ткаѣшо, знѣшо, ѣгрѣшо, шѣшо*. наряду с *предѣшѣм, варѣшѣм, доѣшѣм, шѣшѣм*; в с. Царино (4947), Стрижба (4952): *пѣкашѣм, прѣдашѣм, мѣташѣм, седѣшѣм, жанѣшѣм, нѣсѣшѣм, рѣшѣм*.

в окончании зашел дальше, чем процесс образования форм 1-го л. мн. ч. имперфекта; формы настоящего времени с *-н*, по нашим наблюдениям, преобладают.

2. Возможно также, что *-он* в окончании имперфекта *-ион* следует объяснять перенесением в 1, 2, 3-м л. ед. ч. окончания 3-го л. мн. ч. того же времени: *он*, при этом, как видно из приведенных выше примеров, *н* произносится слабо и часто выпадает: *-он*.

Л. Н. Смирнов

ВКЛАД П. И. ШАФАРИКА В СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ (к 100-летию со дня смерти)

Многие яркие страницы в истории славяноведения неразрывно связаны с именем выдающегося ученого-слависта, одного из виднейших представителей чешского и словацкого национально-освободительного движения первой половины XIX в. — Павла Йозефа Шафарика.

По определению Н. Г. Чернышевского Шафарик был «равно великим филологом и историком славянским»¹. В сферу его научных интересов входили проблемы происхождения и древнейшей истории славян, различные вопросы славянской археологии и этнографии. Его внимание привлекали история славянских языков и литератур, проблемы возникновения и развития славянской письменности, славянское народное творчество и многие другие стороны истории материальной и духовной культуры славянских народов.

Творчество Шафарика пронизано идеей дружбы славянских народов, их этнической и культурной общности.

Основное место в трудах Шафарика, касающихся изучения славянских языков, бесспорно занимают работы по старославянскому языку и древней славянской письменности. Интерес к старославянскому языку, возникший у Шафарика в самом начале его деятельности, не ослабевал до конца жизни. Это нашло отражение и в его обобщающих трудах («Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten», Ofen, 1826; «Slovanské starožitnosti», Praha, 1837; «Slovanský národopis», Praha, 1842) и в изданиях древних памятников славянской письменности, и в ряде специальных работ («Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku». — ČSM, roč. XXII, 1848; «Pohled na prvověk blaholského písemnictví». — ČSM, roč. XXVI, 1852; «Über den Ursprung und die Heimat des Glagolitismus», Prag, 1958 и многие другие). Широко использовал Шафарик материал старославянского языка и в своих статьях по сравнительному языкознанию (в 1846—1848 гг.).

Работы Шафарика по старославянскому языку в основной своей массе не были исследованиями чисто лингвистического плана. Для Шафарика был характерен широкий комплексный подход к различным проблемам истории старославянского языка и письменности. Деятельность Кирилла и Мефодия, происхождение славянских азбук, судьбы древнейшей славянской письменности, проблема родины старославянского языка, вопросы палеографии, лингвистический и филологический анализ старославянских памятников и некоторые другие проблемы, —

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XVI. М., 1953, стр. 6.

все это входит в круг интересов Шафарика и достаточно полно характеризует их необычайную разносторонность.

В книге «*Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. Ein Beitrag zur slawischen Sprachkunde*» (Pesth, 1833) Шафарик затронул важный в методологическом плане вопрос об отношении старославянского языка к другим славянским языкам. Он опроверг распространенное в то время мнение о том, что все славянские языки восходят к старославянскому, и на примере сербского языка показал, что отдельные славянские языки уже в древнейший период могли существовать параллельно со старославянским². Акад. И. В. Ягич отмечал, что Шафарик в этой книге обнаружил «гораздо больше критического отношения к церковно-славянскому языку, чем, например, Копитар в своем «*Glagolita Clozianus*» (Wien, 1836. — Л. С.). Некоторые подробности, правда, не были ему еще довольно ясны, например, зависимость некоторых сербских текстов от болгарских подлинников, или же особенности боснийской отрасли памятников, — по вообще это было для своего времени исследование образцовое, сделавшее впервые после грамматики Добровского большой шаг вперед»³.

Шафарик неизменно проявлял глубокий интерес к вопросу о происхождении древних славянских азбук (кириллицы и глаголицы) и их отношении друг к другу.

В начальный период своей научной деятельности Шафарик в сущности разделял точку зрения И. Добровского, который считал, что глаголица значительно моложе кириллицы. Это мнение Добровского до 30-х годов XIX в. пользовалось широким признанием⁴.

В 1836 г. В. Копитар, издав новый глаголический памятник («*Glagolita Clozianus*»), сделал попытку поколебать позицию Добровского⁵, доказывая, что глаголическое письмо возникло до XII в., одновременно с кириллическим или даже раньше него. Копитар не смог, однако, привести достаточно веских аргументов в пользу своей гипотезы.

Между тем открывались и изучались новые древние памятники славянской письменности, накапливались доказательства и факты, говорящие о древности глаголицы. В связи с этим намечаются некоторые колебания и во взглядах Шафарика. В письме к М. П. Погодину (от 12 мая 1838 г.) он замечает: «Глаголическая азбука определенно древнее, чем предполагал Добровский, хотя и не настолько древняя, как этого хочется теперь Копитару».

Следует сказать, что в XIX в. вопрос о древнейших славянских азбуках был одним из самых актуальных. Он привлекал к себе пристальное внимание и нередко вызывал горячую полемику. Значительный вклад в его разработку был внесен русскими учеными-современниками Шафарика⁶.

² В общей форме мысль о том, что старославянский язык нельзя рассматривать как мать остальных славянских языков, значительно ранее была высказана И. Добровским в статье «Über die altslawonische Sprache nach Schlözer mit Anmerkungen von J. D.» (Slawin, 1806).

³ И. В. Ягич. История славянской филологии. Петроград, 1910, стр. 272—273.

⁴ Правда, еще с конца XVIII в. некоторыми учеными высказывалось мнение, что древнейшей славянской азбукой была глаголица, а не кириллица (Г. Добнер и др.). Однако в своем труде «*Glagolitica*» (1807) Добровский подверг эти взгляды критике и показал, что глаголица возникла не ранее XIII в.

⁵ Еще раньше, в 1830 г., с указанным мнением Добровского не соглашался А. Х. Востоков (см. «Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке», СПб., 1873, стр. 287).

⁶ Ряд интересных и оригинальных соображений высказал молодой русский славист П. И. Преис в статье «О глагольской письменности» (ЖМНП, 1843, ч. XXXVII, № 3, стр. 184—238), о которой одобрительно отозвался Шафарик. Преис опро-

С 1848 г. Шафарик в значительной степени сосредоточивается на изучении старославянской литературы и языка. В письме О. М. Бодянскому от 9 сентября 1848 г. он говорит: «Старославянская литература, ее история, затем языкознание — меня теперь больше всего интересуют»⁷. В этом году была опубликована статья Шафарика «Расцвет славянской литературы в Болгарии», где он продолжает придерживаться мнения, высказанного в цитированном письме Погодину. «Охотно допускаю, — пишет он, — что глаголическая письменность гораздо древнее, чем мы, основываясь на суде и приговоре Добровского, прежде полагали»⁸. В 1849 г. в докладе о глаголической письменности Шафарик отмечает, что она распространилась в XI в., однако вопрос о времени ее возникновения еще не решает⁹. В статьях «Pohled na prvověk hláholského písemnictví», «Взгляд на древность глаголической письменности» («Известия второго отделения имп. Академии наук», I, 1852) Шафарик уже относит глаголицу к X в., отмечает большую архаичность языка глаголических памятников, но продолжает считать, что кириллица все же древнее глаголицы¹⁰. В основном этой же точки зрения придерживается Шафарик и во введении к изданию «Památky hláholského písemnictví» (Praha, 1853).

Поворот во взглядах Шафарика по этому вопросу наметился лишь после открытия глаголических «Пражских отрывков» (1855). Изучение новых памятников помогает Шафарiku решиться на пересмотр всей своей позиции. Все же, издавая эти памятники в 1857 г. вместе с открывшим их проф. К. Гёфлером¹¹, Шафарик еще не делает окончательного вывода, хотя уже и высказывает мысль о том, что глаголица, возможно, древнее кириллицы.

Свои новые взгляды Шафарик полно и определенно излагает лишь в знаменитом труде «Über den Ursprung und die Heimat des Glagolitismus» (Praha, 1958). Он приходит к выводу, что глаголица древнее кириллицы, что ее создателем был Кирилл (Константин), а кириллица была составлена позднее епископом Климентом.

В этой работе Шафарик изменил и свое мнение о родине старославянского языка. В «Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten» Шафарик говорил о старославянском языке как о некогда существовавшем живом диалекте, родину которого он точно не определял. Позднее он более определенно высказывался в пользу болгарского или болгарско-македонского происхождения старославянского языка («Slovanský národopis», «Geschichte der südslawischen Literatur», Prag, 1864—1865 и др.). Теперь же он считал возможным гово-

верг ряд положений Копитара и в основном согласился с мнением Добровского. Ценным вкладом в решение вопросов о древней письменности славян послужили открытия древнейших глаголических памятников В. И. Григоровичем и П. Успенским. Большое внимание этим вопросам уделяли также А. Х. Востоков, И. И. Срезневский, О. М. Бодянский и др.

⁷ «Письма П. И. Шафарика к О. М. Бодянскому (1838—1857)», М., 1895, стр. 98—99.

⁸ P. J. Šafařík. Sebrané spisy. Rozpravy z oboru věd slovanských, d. III. Praha, 1865, стр. 164.

⁹ См. J. Polívka. Přehled jazykozpytných a paleografických prací P. J. Šafaříka. — LF, roč. XXII, seš. IV, Praha, 1895, стр. 261.

¹⁰ В то же самое время В. И. Григорович в статье «О древней письменности славян» (в его кн. «Статьи, касающиеся древнего славянского языка». Казань, 1852) предполагает, что древнейшей славянской азбукой является глаголица, что она возникла раньше IX в. и «быть может, есть плод успехов письменности весьма отдаленных времен» (стр. 57). Правда, Григорович оговаривается, что он не может привести в подтверждение этой гипотезы достаточных научных аргументов.

¹¹ «Glagolitische Fragmente. Herausgegeben von Dr. K. A. C. Höfler und Dr. P. J. Šafařík». Prag, 1857.

рить о паннонском характере старославянского языка, так как истоки славянской письменности он усматривал в Паннонии и Моравии.

Для доказательства своих новых взглядов Шафарик приводит обширную научную аргументацию историко-географического, палеографического и лингвистического характера.

В новом труде Шафарика был сделан крупный шаг вперед в изучении старославянского языка, славянских азбук и судеб древней славянской письменности. Не случайно этот труд Шафарика получил весьма высокую оценку как у его современников, так и у ученых последующего времени, хотя, конечно, не все его выводы и положения признавались правильными.

Известный знаток древнеславянской письменности А. Е. Викторov, откликнувшись на книгу Шафарика двумя статьями¹², подверг новые взгляды Шафарика тщательному критическому разбору и во многом с ним не согласился. Однако он высоко оценил методологическое значение этого труда, новую постановку вопроса. Викторov подчеркнул также высокие нравственные качества Шафарика, как ученого, не побоявшегося публично отказаться от своих старых взглядов. Он писал: «Не мелкое самолюбие, сознательно или бессознательно заботящееся о том, чтобы во что бы то ни стало отстоять свое мнение, не щепетильная заботливость о последовательности своих выводов и согласии их с прежними взглядами, а чистая, бескорыстная, доходящая до самоотвержения любовь к истине и желание так или иначе, но хоть скольконибудь поднять завесу темного прошлого — вот что всегда служило... пружиной ученой деятельности знаменитого славяниста»¹³. Гипотеза Шафарика о приоритете глаголицы во второй половине XIX и в начале XX в. была одной из самых распространенных. О популярности работ Шафарика по вопросу о глаголице, о большом интересе к ним не только ученых, но и студенческой молодежи свидетельствует такой факт. На историко-филологическом факультете Новороссийского университета в 1895 г. на соискание медали была выдвинута тема: «Вопрос о глаголице после Шафарика». В блестящей работе, достойной, по отзыву проф. А. А. Кочубинского¹⁴, золотой медали, неизвестный студент дал обстоятельный критический анализ предшествующей трудам Шафарика литературы вопроса, рассмотрел труды самого Шафарика, а также состояние вопроса в последующий период. В заключение автор склонился все же к гипотезе Шафарика. По вскрытии конверта с именем автора оказалось, что это был студент Степан Кульбакин, в будущем известный ученый-славист.

Длительное время гипотеза Шафарика признавалась наиболее приемлемой и правильной. Идеи Шафарика были развиты в работах И. В. Ягича, В. И. Григоровича, Н. С. Тихонравова, В. Н. Щепкина, И. Вейса, А. М. Селищева и др. Выдающийся русский славист В. Н. Щепкин называл концепцию Шафарика «научно-обоснованной гипотезой» и считал ее «одной из тех живучих гипотез, которые способны бесконечно совершенствоваться и черпать от времени новые силы»¹⁵. И в настоящее время гипотеза Шафарика (конечно в обновленном виде) пользуется признанием многих ученых.

¹² Обе статьи имеют одинаковое название. См. А. Е. Викторov. Последнее мнение Шафарика о глаголице. — «Летописи русской литературы и древности», М., т. 2, 1859, стр. 67—150; т. 3, 1861, стр. 3—55.

¹³ А. Е. Викторov. Указ. соч., т. 2, стр. 82.

¹⁴ А. А. Кочубинский. В историко-филологический факультет, 1895.

¹⁵ В. Н. Щепкин. Учебник русской палеографии. М., 1918, стр. 15.

В истории славянской филологии работы Шафарика по старославянскому языку и древнеславянской письменности бесспорно занимают важное и почетное место. Известный русский славист А. А. Кочубинский называл их «бессмертными»¹⁶. Высоко оценивал труд Шафарика «О происхождении и родине глаголицы» крупный чешский филолог-славист И. Поливка. Он отмечал, что этот труд был исходным пунктом многочисленных исследований о глаголице и стал краеугольным камнем старославянской филологии и истории древнеславянской письменности¹⁷.

Следует отметить, что проблема происхождения славянских азбук до сих пор не получила окончательного разрешения, она по-прежнему остается актуальной и привлекает к себе постоянное внимание исследователей.

Велики заслуги Шафарика в изучении сербского языка. За время пребывания в Новом Саде (1819—1833) Шафарик немало сделал для развития культуры и науки южных славян. Будучи директором и преподавателем гимназии, он вел напряженную педагогическую и культурно-просветительную работу. Одновременно с этим Шафарик, умевшему трудиться поистине самоотверженно, удалось создать ряд значительных научных работ как в области славянской филологии («Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten», «Serbische Lesekörner...»), так и в области древнейшей истории славян («Über die Abkunft der Slaven». Ofen, 1828).

Огромное внимание уделял Шафарик в это время разысканию, обработке и изданию древнейших памятников письменности южных славян. Одним из наиболее ярких результатов этой титанической работы явился его знаменитый труд по истории сербского языка: «Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. Ein Beitrag zur slawischen Sprachkunde». Это был значительный вклад в славянское языкознание вообще и в сербское в частности.

«Serbische Lesekörner...» — это первый строго научный обзор древнесербских памятников (главным образом кириллических), сопровождаемый глубоким лингвистическим анализом.

После вступительных замечаний следует перечень и краткий анализ источников, послуживших объектом исследования. Эти источники подразделяются на два периода: древнейший и средний. В первый период включены памятники разного характера (латинские, греческие и кириллические — оригиналы и копии) с IX по XIV в. Второй период представлен памятниками с XIV до середины XVIII в.

Основное содержание книги составляет разносторонний анализ языка исследуемых памятников (стр. 14—118). Наибольшее внимание уделено фонетике. Менее подробно анализируются словообразование, морфология и синтаксис. Во всех разделах автор сопоставляет данные древнесербского и старославянского, а иногда и других славянских языков, подчеркивая при этом специфические особенности первого. Такой метод был обусловлен целью исследования — дать полное представление о различии сербского и старославянского языков, проникнуть в древность сербского языка.

В приложении к книге даны образцы текстов изученных памятников. Это были первые в научной литературе точно переданные древнесербские тексты.

¹⁶ А. А. Кочубинский. Итоги славянской и русской филологии. Одесса, 1882, стр. 196.

¹⁷ J. Polívka. Указ. соч., стр. 267.

В целом книга Шафарика была оригинальным, новаторским исследованием. Она по праву считалась и считается одним из лучших его филологических трудов¹⁸. Очень высокую оценку этой работе дал известный русский славист — современник Шафарика В. И. Григорович. Имея в виду методологическую сторону труда, Григорович писал, что он «составляет эпоху в филологии»¹⁹.

Главное значение «*Serbische Lesekörner...*» состоит в том, что этим исследованием Шафарик заложил научные основы истории сербского языка²⁰.

Шафарик сумел разрешить (как мы уже отмечали выше) неясный в то время вопрос о соотношении старославянского и сербского языков, сумел доказать глубокую древность сербского языка и его самостоятельность по отношению к старославянскому. Известный сербский лингвист Дж. Даничич писал в 1861 г. в связи со смертью Шафарика: «В то время, когда мы сами думали, что народный сербский язык есть не что иное, как испорченный язык теперешних церковных книг... Шафарик был первым, кто доказал, что он существовал раньше того церковного... Так Шафарик спас нас от нас самих»²¹.

Уже в этой работе проявляется характерное для Шафарика-лингвиста глубокое внимание к конкретным фактам языка, стремление установить историческую перспективу развития языка, опираясь на широкий разносторонний лингвистический материал, почерпнутый из древних памятников письменности.

Давая книге Шафарика высокую оценку, не нужно думать, что она была лишена недостатков. Конечно, в ней были и ошибки, и спорные или неясные положения²². Все это, однако, не умаляет заслуг Шафарика, не снижает роли его труда в истории славянского языкознания.

Труд Шафарика не утратил своего значения и в наше время. Об этом свидетельствует факт его переиздания (фототипическим способом) в Югославии в 1957 г. В статье М. Павловича (в приложении к этому изданию) высоко оценивается вклад Шафарика в изучение сербского языка. Автор отмечает, что книга Шафарика «представляет собой фактически первую, краткую, но построенную на солидном основании, наглядно и ясно написанную историю сербско-хорватского языка»²³. М. Павлович подчеркивает, что книга переиздается не только как документ, но и как шедевр, который и через 125 лет не утратил своего основного значения²⁴.

Однако заслуги Шафарика в изучении сербского языка не ограничиваются лишь этой книгой. Ряд важных материалов и наблюдений по истории сербского языка можно найти и в других его работах из области южнославянской филологии и письменности («*Monumenta Illyrica*», Praha, 1839; «*Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův*», Praha,

¹⁸ См., например, И. В. Ягич. Указ. соч., стр. 272.

¹⁹ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Фонд 86, к. 2, № 38 «Язык церковно-славянский». Лекции В. И. Григоровича. Курс 2-й, л. 20.

²⁰ Ср., например, J. Polívka. Указ. соч., стр. 252.

²¹ Ђ. Даничић. Ситнији списи, I. Сремски Карловци, 1925, стр. 262—263.

²² Некоторые ошибки и неточности отмечались И. Поливкой (Указ. соч., стр. 252—253), И. В. Ягичем (Указ. соч., стр. 273) и др.

²³ M. Pavlović. Paul Josef Schaffariks Serbische Lesekörner und seine Tätigkeit um die serbische Sprache. — В кн. P. J. Schaffarik. Serbische Lesekörner, oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. [Novi Sad], 1957, стр. VII.

²⁴ Там же, стр. IX.

1851)²⁵; «Geschichte der südslawischen Literatur», изданных после смерти Шафарика в 1864—1865 гг.), а также в некоторых небольших статьях²⁶.

Интересный сербский языковой материал представлен также в таких обобщающих трудах, как «Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten», «Slovanské starožitnosti» и «Slovanský národopis».

Кроме того, Шафарик нередко откликался на работы сербских и хорватских лингвистов (его перу принадлежат рецензии и отзывы на грамматики Бабукича, Кристиановича, Суботича и др.).

Все это способствовало развитию сербской и южнославянской филологии. Вместе с тем работы Шафарика по истории языка и литературы южных славян принесли большую пользу и чешской славистике, которая в то время именно в этой области имела существенные проблемы²⁷.

Большое внимание Шафарик уделял изучению чешского языка. Обратившись к истории чешского языка и древнечешской письменности, он совместно с Ф. Палацким издает «Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache» (Prag, 1840). Уже в этой работе значительное место занимает лингвистический анализ текстов: авторы характеризуют орфографию памятников, рассматривают некоторые грамматические формы, дают словоуказатели.

Однако наиболее крупным трудом Шафарика по истории чешского языка является его известная работа «Počátkové staročeské mluvnice» (в кн. «Výbor z literatury české», d. I, Praha, 1845). В кратком введении Шафарик выдвигает ряд важных методологических положений о чешском языке как диалекте некогда единого древнего славянского языка, о дифференциации славянских языков (диалектов) к периоду появления древнейших славянских памятников письменности, о родстве чешского языка с другими славянскими языками, особенно подчеркивая близость чешского языка словацкому («slovanskému v Uhřích»).

Отметив, что чешский язык с течением времени пережил ряд изменений, Шафарик указывает, что установление целостной системы этих изменений на основе всех памятников чешского языка должно стать предметом исторической грамматики чешского языка. Он понимает всю важность и сложность этой задачи и в своей работе не претендует на ее решение. Свое сочинение Шафарик рассматривает как работу подсобного характера. Его цель — установить различие между древнейшим и современным ему чешским языком.

В самом исследовании основное внимание уделяется характеристике склонения и спряжения. Частично затрагиваются вопросы синтаксиса (главным образом, значения отдельных падежей). Кратко излагается фонетика. Интересно, что в этом разделе проводится сопоставление с данными других славянских языков. Вопросы словообразования и семантики в работе не рассматриваются.

²⁵ Сразу же после выхода в свет книги «Památky...» один из крупнейших русских филологов-славистов XIX в. И. И. Срезневский высоко оценил ее как собрание драгоценных материалов для истории языка, народа и литературы и как образец филологической работы (см. И. И. Срезневский. Из библиографических статей (1852—1855). СПб., 1899, стр. 45).

²⁶ «Übersicht der slowenischen Kirchenbücher». — сб. «Wiener Jahrbücher der Literatur», Bd. 48, 1829; «Übersicht der vorzüglichsten schriftlichen Denkmäler älterer Zeiten bei den Serben und anderen Südslawen». — Там же, Bd. 53, 1831 и др.

²⁷ L. Řeháček. Slovanský národopis s hlediska filologického. — в кн. P. J. Šafařík. Slovanský národopis. Praha, 1955, стр. 199.

Но вместе с тем труд Шафарика страдал очень существенным недостатком — он основывался на памятниках, которые позднее были признаны подложными («Либушин Суд», «Краледворская рукопись» и др.). Это обстоятельство было одной из причин того, что сочинение Шафарика не стало научной базой для дальнейших исследований в области истории чешского языка. Не следует, однако, забывать, что для своего времени этот труд был значительным научным достижением. Известный немецкий языковед А. Шлейхер высоко оценивал совершенство метода исследования Шафарика и отмечал, что в его труде древнечешский язык впервые получил научную обработку. И. Поливка, который в своей статье весьма резко отзывался о недостатках этой работы, все же подчеркнул, что за трудом Шафарика «в истории чешской филологии будет сохранено почетное место»²⁸.

Наряду с исследованиями в области истории чешского языка и древнечешской письменности Шафарик вел значительную работу по изучению современного чешского языка. Его научная деятельность в этом плане была неразрывно связана с практикой, с активным участием в борьбе чешских патриотов за права родного языка. В 30—40-е годы XIX в. чешский язык уже все более и более входил в различные стороны общественной и культурной жизни, однако в условиях Австрийской империи борьба за его равноправие с немецким языком по-прежнему была актуальной и важной. Поэтому статья Шафарика «*Myšlenky o provedení stejného práva českého a německého jazyka na školách českých*» (ČČM, roč. XXII, 1848, стр. 171—197) имела не только научное, но и общественно-политическое значение.

Борясь за культуру чешского языка, активно участвуя в проведении реформы правописания, принятой в 1843 г., Шафарик дал научное обоснование новых правил орфографии²⁹.

Большую работу провел Шафарик также по упорядочению и установлению чешской научной терминологии. В 1849 г. он возглавил комиссию по юридической терминологии, результатом деятельности которой явился «*Juridisch-politische Terminologie für die slawischen Sprachen Österreiches*» (1850). В 1851 г. Шафарик был председателем комиссии по научной терминологии, которая подготовила «*Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy*» (1853). Научное и практическое значение имели также и некоторые другие работы Шафарика, например, статья «*O skloňování jmen cizojazyčných*». (ČČM, roč. XXVI, 1852, стр. 116—134).

Значительный интерес представляют взгляды Шафарика по вопросу о словацком языке.

Шафарик, будучи словаком, не мог равнодушно относиться к судьбам родного языка, культуры и литературы. Еще студентом он увлекался собиранием словацких народных песен, писал стихи, в которых чувствовалось влияние словацкой народной поэзии. До конца жизни Шафарик сохранил глубокий интерес к народному творчеству, языку и культуре родного народа.

Большое внимание родному языку уделял Шафарик и в своей научной деятельности.

В книге «*Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten*» Шафарик посвящает языку и литературе словаков специальный раздел (стр. 370—398), в котором после вступительных исто-

²⁸ J. Polívka. Указ. соч., стр. 257.

²⁹ P. J. Šafařík. Slovo o českém pravopise. — ČČM, roč. XVII, 1843, стр. 3—12.

рико-этнографических замечаний дается характеристика словацкого языка и прослеживаются судьбы словацкого языка и литературы.

В этой книге Шафарик говорит о самостоятельности словацкого языка в ряду других славянских языков, указывая при этом на тесную его близость с чешским. Здесь же Шафарик делает попытку выделить характерные особенности словацкого языка (причем это была характеристика не литературного языка, а народно-разговорной словацкой речи). Среди них он указывает, например, такие, как *a*, *o*, *u* на месте чешских *e*, *i*, ряд дифтонгов *ia*, *iu*, *uo* и др., наличие гласного *ä*, отсутствие *ř* и некоторые другие. Данный Шафариком перечень специфических черт словацкого языка не был, конечно, исчерпывающим, однако, несмотря на некоторые неточности и ошибки, он все же давал хотя и не полное, но в основном правильное представление о характере словацкого языка.

Рассматривая словацкий язык как целое Шафарик, вместе с тем, отмечает его диалектную дифференцированность и выделяет три главных варианта (*Hauptvarietäten*) живой народной речи: 1) собственно словацкий, 2) моравско-словацкий и 3) польско-словацкий. Интересно, что собственно словацкий вариант охватывает в основном те говоры, которые в настоящее время выделяются как среднесловацкие.

Позднее в кн. «*Slovanský národopis*» Шафарик иначе трактует вопрос о положении словацкого языка в кругу славянских языков. Так, в ряду западнославянских языков он выделяет чешский язык (*řeč česká*), который подразделяет на два диалекта: чешский (*nářečí české*) и словацкий (*nářečí uhersko-slovenské*). Однако и здесь Шафарик подчеркивает своеобразие словацкого языка, даже несколько подробнее и точнее характеризует его особенности.

Выступая за признание своеобразия народно-разговорного языка словаков, Шафарик не считал, однако, необходимым создание на этой основе словацкого литературного языка. Он неодобрительно отзывался о попытке А. Бернолака создать словацкий литературный язык³⁰.

Отвергая «бернолачину», Шафарик вместе с тем считал необходимым приблизить чешский литературный язык (бывший в то время и литературным языком словаков) к словацкой разговорной речи, т. е. создать литературный язык на основе чешской грамматики, но с привнесением словацкой лексики и фразеологии. Это, по мнению Шафарика, создало бы особый стиль единого литературного языка чехов и словаков, отражающий специфический словацкий колорит, стиль близкий и понятный словацкому народу. Именно в этом направлении Шафарик в содружестве с Я. Колларом еще в 20-х годах XIX в. разрабатывал концепцию литературного языка для словаков.

Взгляды Шафарика по вопросу о литературном словацком языке, пожалуй, наиболее отчетливо и полно выражены в его статье, помещенной в кн. «*Hlasové a potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravanu a Slováky*» (Praha, 1846). В споре о словацком литературном языке Шафарик выступил на стороне Ф. Палацкого, Й. Юнгмана, Я. Коллара и др., резко осудивших деятельность Л. Штура и его сторонников по созданию отдельного словацкого литературного языка. Однако в отличие от других статья Шафарика была написана в сдержанном, миролюбивом тоне. Он сосредоточил свое внимание не на нападках на штуровцев, а на филологической и историко-этнографической аргументации в пользу единого литературного языка чехов и словаков.

³⁰ А. Bernolák. *Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum*. Posonii, 1787; его же. *Grammatika slavica*. Posonii, 1790.

Шафарик отметил, однако, и ряд факторов, которые с течением времени все более и более затрудняли пользование единым литературным языком (различные пути развития народно-разговорной речи чехов и моравян, с одной стороны, и словаков, с другой; быстрые темпы развития современного чешского литературного языка, который все более отдалялся от классической «библичности»; недостаток школ и учебных пособий в Словакии для овладения чешским литературным языком).

Шафарик считал, что реформа Штура не соответствует культурному и политическому положению Словакии того периода, историческим традициям в развитии просвещения, литературы и языка. Этим в значительной мере объяснялась его отрицательная позиция по отношению к реформе. Шафарик опасался, что она может привести к ослаблению тесных братских связей чехов и словаков. Кроме того, ему казалось, что диалектное разнообразие словацкого языка будет серьезным препятствием при выработке единых норм литературного языка. Наконец, Шафарик все еще надеялся, что лучший путь разрешения вопроса — это путь частичной словакизации чешского литературного языка, путь сохранения и укрепления единства литературы и языка чехов и словаков.

Шафарик не смог понять, что создание словацкого литературного языка в середине XIX в. стало уже насущной исторической необходимостью. Становление капиталистических производственных отношений, развивающийся процесс формирования словацкой буржуазной нации, быстрый рост национального самосознания словаков — эти экономические и общественно-политические условия требовали создания словацкого литературного языка. Планы Шафарика и Коллара о едином литературном языке чехов и словаков, разработанные ими в 20-х годах, в этих условиях стали уже, в сущности, анахронизмом и были обречены на провал.

Несмотря на отрицательное отношение Шафарика к созданию отдельного литературного языка словаков, именно он, как это ни парадоксально, объективно сыграл значительную роль в развитии движения за словацкий литературный язык. Штуровцы высоко ценили авторитет Шафарика как выдающегося словацкого ученого. Идеи Шафарика о самостоятельности словацкого языка, о его характерных особенностях, о «собственно словацком» диалекте и некоторые другие, высказанные им еще в 20-х годах XIX в., получили в 40-е годы более определенное и последовательное развитие во взглядах основоположника современного словацкого литературного языка Л. Штура и его последователей.

Штур в своих работах неоднократно ссылается на авторитет Шафарика. Говоря о среднесловацких говорах, на базе которых был создан литературный язык, Штур подчеркивает, что сам Шафарик признавал их подлинно словацкими³¹. Учитывая выделенные Шафариком признаки словацкого языка, Штур дал более детальную и развернутую характеристику различных его сторон. Идеи и высказывания Шафарика оказали также определенное влияние на последующих кодификаторов словацкого литературного языка и прежде всего на М. М. Годжу и М. Гатталу³².

³¹ Ľ. Štúr. Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Turč. Martin, 1943, стр. 111; Ľ. Štúr. Hlás k rodákovi. — Dielo v piatich zväzkoch, zv. 5 Bratislava, 1957, стр. 13.

³² См. Е. Ё́на. Martin Hattala. — «Jazykovedný časopis», roč. VII, 1953, стр. 15.

Изучение старославянского, сербского, чешского и других славянских языков³³ дало Шафарика основательную базу для подхода к проблемам общеславянского характера, для исследований сравнительно-исторического плана.

Уже в первых филологических трудах Шафарика («Geschichte der slawischen Sprache und Literatur», «Serbische Lesekörner...») присутствовали элементы сравнительного анализа. Полнее наблюдения сравнительного характера представлены в лингвистических разделах книги «Slovanský národopis». Наконец, непосредственно проблемам сравнительного языкознания посвящен ряд статей, опубликованных в 1846—1848 гг. в журнале «Časopis Českého museum»: «O tvoření slov zdvojnáním kořene», «O šíření časoslovných kořenův a kmenův vsouváním a přirůžením souhlásek» (roč. XX, 1846), «O přetvořování hrdelných souhlásek», «Výklad některých grammatických forem v jazyku slovanském» (roč. XXI, 1847), «Mluvozpytný rozbor čísloslova» (roč. XXII, 1848).

Научная деятельность Шафарика в области сравнительно-исторического изучения славянских языков протекала в период становления славянского сравнительного языкознания, пути к которому были проложены И. Добровским и А. Х. Востоковым. Шафарик выступил как продолжатель традиций Добровского и внес свой вклад в развитие сравнительно-исторического славянского языкознания.

Шафарик хорошо понимал целесообразность и необходимость применения сравнительно-исторического метода при изучении славянских языков. Он считал, что именно в этом направлении можно ожидать дальнейшего совершенствования и развития славянского языкознания.³⁴ Важную задачу славянских языковедов Шафарик видел также в том, чтобы выйти за рамки славянских языков и привлечь для исследования другие индоевропейские языки. На этом пути он одним из первых сделал решительные шаги. Названные статьи Шафарика важны как раз тем, что в них он «поднялся с более узкой позиции славянского языкознания на более широкую позицию индоевропейского сравнительного языкознания»³⁵. Действительно, Шафарик широко использует данные не только славянских языков, но и литовского, санскрита, греческого, латинского и др. Из упомянутых работ, пожалуй, наибольшее значение имеет статья: «Výklad některých grammatických forem v jazyku slovanském», в которой Шафарик сделал ряд важных наблюдений (он впервые объяснил древние формы местного падежа множественного числа на *-ás* типа *Lužás, Polás*, блестяще реконструировал праславянский футурум, реликт которого он усмотрел в причастии *byšášteje* и т. п.).

Творческие планы Шафарика в области сравнительного славянского языкознания были обширными и значительными. Он задумал и готовил капитальный труд по славянской этимологии³⁶. Продолжая традиции И. Добровского и Ф. Челаковского, Шафарик поставил перед собой трудную задачу — составить словарь славянских корней. Ему удалось собрать богатый материал. Показательно, что Шафарик обратил серьез-

³³ В работах Шафарика есть немало ценных материалов, наблюдений и отдельных замечаний по болгарскому, словенскому, русскому, украинскому, белорусскому, польскому, сербо-лужицкому, полабскому языкам. Однако в краткой статье нет возможности хотя бы перечислить наиболее важные и интересные высказывания Шафарика, касающиеся этих языков.

³⁴ P. J. Šafařík. Sebrané spisy. Rozpravy z oboru věd slovanských, d. III, стр. 577.

³⁵ J. Polívka. Указ соч., стр. 258.

³⁶ См. об этом в статье V. Flašhans. Životní dílo P. J. Šafaříka. — «Bratislava», roč. V, čís. 2, 1931, стр. 256—272.

ное внимание на сбор и обработку топонимического и ономастического материала³⁷, прекрасно понимая его ценность не только для лингвиста, но и для историка. Однако довести до конца задуманный труд по славянской этимологии Шафарик не смог. Эта задача была не по силам науке того времени.

Сравнительно-исторические исследования Шафарика вызывали живой интерес и положительный отклик у современников. Не случайно его статьи 1846—1848 гг. А. Шлейхер называл «солидными статьями», не случайно такое большое внимание к этим трудам проявляли русские слависты — современники Шафарика. Из русских лингвистов одним из первых обратил внимание на работы Шафарика по сравнительному языкознанию и отметил их методологическое значение В. И. Григорович, который писал в 1847 г.: «Новые труды г-на Шафарика заслуживают по своей зрелости особенного внимания... С особой точностью г. Шафарик применяет законы, выведенные из общего языкознания, к составу славянских языков...»³⁸. Позднее Григорович также высоко оценивал эти работы Шафарика. В курсе старославянского языка (1863), который сохранился в его рукописном наследии, он называет их «превосходными статьями»³⁹.

Вклад Шафарика в развитие сравнительного славянского языкознания признавал также И. И. Срезневский. В статье «Труды по сравнительной грамматике славянских наречий» (1852)⁴⁰ он отмечал, что в западнославянской филологии после работ Добровского труды Шафарика представляют следующий шаг в разработке проблем сравнительной грамматики славянских языков. В частности, Срезневский высоко оценивал в этом плане книгу Шафарика «*Serbische Lesekörner...*», которую он называл «прекрасным опытом сравнения славянских наречий, первым в своем роде и по времени»⁴¹. В этой же статье Срезневский отмечал как заслугу Шафарика то, что он уточнил задачи сравнительной грамматики славянских языков, отделив вопрос о ней от вопроса о грамматиках параллельных, а также то, что Шафарик понял необходимость введения в область сравнительного изучения славянских языков богатого диалектного материала, данных народных говоров. В своих трудах Шафарик, однако, не смог вполне раскрыть задачи и принципы сравнительной грамматики славянских языков, хотя и сделал в этом направлении заметный шаг вперед. Не удалось Шафарiku создать и значительных обобщающих трудов в этой области.

Историческое развитие сравнительного славянского языкознания, которое переживало в середине и второй половине XIX в. быстрый подъем, привело к тому, что вскоре исследования Шафарика в этой области значительно устарели. Достаточно напомнить, что уже в 1852 г. вышел в свет первый том монументального труда словенского ученого Ф. Миклошича «*Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen*», Bd. I—IV, Wien, 1852—1875.

³⁷ Ср., например, его статьи: «*Přehled národních jmen v jazyku slovanském*». — *ČSM*, го́д. IX, 1835, стр. 367—398; «*Výklad některých pomístných jmen u Bulharův*». — *ČSM*, го́д. XXI, 1847, стр. 572—578, а также разнообразный топонимический и ономастический материал в кн. «*Slovanské starožitnosti*» и «*Slovanský národopis*».

³⁸ «Донесения В. И. Григоровича об его путешествии по славянским землям», Казань, 1915, стр. 252.

³⁹ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Фонд 86, к. 2, № 38 «Язык церковно-славянский». Лекции В. И. Григоровича. Курс 2-й, л. 20.

⁴⁰ См. И. И. Срезневский. Указ. соч., стр. 22—38.

⁴¹ Там же, стр. 26.

Не следует все же забывать, что Шафарик стоял у истоков сравнительно-исторического изучения славянских языков, что он был одним из первых на этом трудном и новом для того времени поприще.

Шафарик был одним из видных славянских языковедов XIX в. Он внес значительный вклад как в изучение отдельных славянских языков, так и в сравнительно-историческое славянское языкознание. Многие научные достижения Шафарика не утратили своей важности и актуальности и в наши дни, через сто лет после его смерти. Лингвистическое наследие Шафарика имеет большое значение также для истории науки. Его труды и научный авторитет оказали серьезное влияние на развитие славянского языкознания. Шафарик по праву занимает почетное место в истории славянского языкознания.

С. Б. Бернштейн

ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ
(К столетию со дня рождения)

1 января 1963 г. (по новому стилю 13 января) исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося болгарского языковеда, академика Любомира Милетича. Милетич счастливо сочетал большой талант исследователя, педагога и крупного организатора. Наделенный большой силой воли, поразительным трудолюбием и упорством, Милетич еще в молодые годы занял одно из первых мест среди того поколения болгарских ученых, которому пришлось закладывать основы отечественной науки. Из филологов к этому поколению принадлежали А. Теодоров-Балан, Б. Цонев, И. Шипманов и др.

Свыше пятидесяти лет Л. Милетич трудился на ниве болгарской филологии, уделяя основное внимание изучению родного языка. Именно в области болгарского языкознания он оставил труды первостепенного значения.

Первая печатная публикация ученого относится к 1884 г. Это была рецензия на грамматику древнеболгарского языка Николы Попова. Общий список печатных работ Милетича включает свыше четырехсот монографий, статей, рецензий, обзоров, некрологов. В этом списке поражает большое число крупных специальных работ, посвященных истории и диалектологии болгарского языка.

В научном наследии Милетича на первое место следует поставить его труды по болгарской диалектологии. Это две его капитальные монографии — «Das Ostbulgarische» (Вена, 1903) и «Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache» (Вена, 1912) и множество статей и рецензий. В полном объеме оценить деятельность Милетича в области изучения болгарских говоров может только полевой диалектолог, который за печатным текстом видит огромный труд собирателя, сопряженный с лишениями и постоянным физическим напряжением. Ограниченность денежных средств, бездорожье (для своей монографии «Das Ostbulgarische» Милетич собирал материал летом 1897, 1898 и 1900 гг.), отсутствие помощников не помешали ученому в предельно короткий срок дать диалектологическое описание почти всех восточноболгарских говоров. Наблюдения Милетича отличаются точностью, в чем приходилось убеждаться не один раз. В последний раз я в этом убедился осенью 1961 г. в родопских селах Костандово и Дорково, сопоставляя свои наблюдения над языком местных жителей с наблюдениями Милетича.

Не все гипотезы Милетича выдержали испытание временем. Это прежде всего касается его классификации восточноболгарских говоров по признаку членной формы. Однако до сих пор его монографии не потеряли

своего значения и являются обязательными пособиями для всех молодых диалектологов.

По происхождению македонец, Милетич всю свою жизнь интересовался македонскими говорами. Однако о них он не оставил больших исследований. Можно указать лишь на несколько небольших статей и рецензий.

Первый труд по истории болгарского языка был опубликован Милетичем в 1886 г. Он был посвящен языку Маринского евангелия. В 1887 г. вышла в свет его первая статья о членных формах в болгарском языке. Членным формам Милетич посвятил ряд исследований в различные периоды своей жизни. В 1889 г. вышла на сербохорватском языке в Загребе его диссертация «О *članu u bugarskom jeziku*», в 1901 г. — исследование «Членът в българския и руския език», а в 1933 г. он опубликовал статью «Към историята на тройния член в старобългарския език» («Български преглед», II, 1).

В центре научных интересов Милетича — историка языка стояли проблемы формирования важнейших особенностей новоболгарского языка. Отсюда его обостренный интерес к тем памятникам письменности, которые содержат черты народных говоров. Вот почему он уделил большое внимание изучению языка славянских грамот Румынии (см. его «Дако-ромъните и тяхната славянска писменост», 1893; «Нови влахо-български грамоти от Брашов», 1896 и др.), языку семиградских болгар (см. его «Седмоградските българи и техният език», 1926 и др.), языку дамаскинов. Он опубликовал целиком Коприштенский (1908) и Свиштовский (1923) дамаскины и дал подробное описание их языка. Милетичу принадлежит ценное исследование языка банатских болгар (1900).

Естественно, что Милетич не мог пройти мимо многих языковых проблем, волновавших современное ему общество. Так, он принимал деятельное участие в решении вопросов графики и правописания, занимая здесь в первые годы своей деятельности вместе с Цоневым и Теодоровым-Баланом демократические позиции. Позже в этом вопросе он стоял уже на реакционных позициях, отвергая требования сближения правописания с живым языком.

Милетич интересовался не только вопросами языка. Им опубликовано большое количество работ по истории болгарской литературы древнего периода, по этнографии, фольклору и по истории. Большую ценность представляет его демографическое исследование «Старото българско население в североизточна България» (1902).

Много сил и времени уделял Милетич истории науки. Ему принадлежит большая монография «Д-р Франц Миклошич и славянската филология» (1891), очерки научной деятельности Гейтлера, Матова, Неофита Рыльского и др.

В течение многих лет Милетич был профессором университета, академиком, руководителем многих научных обществ и различных научных изданий. В 1912 г. ученики Милетича опубликовали сборник в честь учителя. В 1933 г. был издан второй сборник по случаю 70-летия Милетича. В нем приняли участие многие крупнейшие слависты того времени. Среди них были и советские филологи Н. С. Державин, М. Н. Сперанский, А. М. Селищев, Г. А. Ильинский, Б. М. Ляпунов, А. И. Томсон, П. Г. Богатырев и др.

Л. Милетич был тесно связан с русской наукой. Он был членом-корреспондентом Академии наук, опубликовал в России ряд своих исследований (напр., «Следы среднеболгарской замены носовых в новоболгарских наречиях», 1906; «Болгарские говоры чепинских помаков», 1908),

был тесно связан со многими русскими славистами. В архиве А. М. Селищева хранится много писем Милетича, представляющих большой интерес для истории науки, для истории русско-болгарских научных связей.

В 1933 г. в Академии наук СССР отмечалось 70-летие болгарского ученого. На специальном заседании тогдашнего Института славяноведения акад. Н. С. Державин выступил с докладом о научной деятельности Милетича. Этот доклад был опубликован во втором томе «Трудов Института славяноведения АН СССР» (Ленинград, 1934). В докладе Н. С. Державин дал всестороннюю оценку деятельности ученого, указав, что его труды «в своей совокупности представляют собою крупнейший вклад» в науку.

Скончался Л. Милетич 1 июня 1937 года.

И. А. Дзедзелевский

**Z. STIEBER. ATLAS JĘZYKOWY DAWNEJ
ŁEMKOWSZCZYZNY, ZESZ. I—V.
ŁÓDŹ, 1956—1961**

Изучение украинских лемковских говоров, расположенных в крайней западной части украинской языковой и этнографической территории, где украинский язык с древних времен непосредственно контактирует с польским и словацким, представляет большой интерес не только для украинистов, но и для полонистов и словакистов. Об этих говорах имеется сравнительно большая литература — работы А. Торонского, А. Петрушевича, И. Верхратского, В. Гнатюка, И. Зилинского, И. Панькевича, И. Шемлея, И. Свенцицкого, Т. Лер-Сплавинского, З. Штибера и др., — однако изучены они все же недостаточно, в частности, очень слабо изучен вопрос о взаимосвязях их, с одной стороны, с соседними польскими и словацкими, а с другой стороны — с бойковскими, надсянскими, закарпатскими и другими украинскими говорами; они почти не исследовались методом лингвистической географии. Вследствие этого в научной литературе отсутствуют какие-либо обоснованные выводы относительно классификации этих говоров и т. п. К сожалению, теперь уже нет возможности в полной мере восполнить эти упущения, ибо лемковские говоры на территории их прежнего распространения уже стали достоянием истории: после второй мировой войны на основании польско-советского соглашения в 1944 г. лемковское население из Польши переселилось в СССР. Поэтому рецензируемый лингвистический атлас, составленный известным польским славистом, лучшим современным знатоком Лемковщины и лемковских говоров проф. З. Штибером¹, приобретает особенно большое значение.

К настоящему времени вышло пять выпусков атласа по 50 карт в каждом; в будущем автор обещает дать еще около 100—150 карт. Атлас состоит из «Введения» (5 страниц), «Комментариев» к картам и самих карт. Во «Введении» изложены сведения о вопроснике и материалах атласа, замечания о принятой фонетической транскрипции, дан список населенных пунктов, включенных в сетку, и т. п. Теоретические вопросы лингвистической географии во «Введении» автором атласа не поднимаются.

Богатый фактический материал атласа, безусловно, много дает для решения ряда важнейших проблем, связанных с лемковскими говорами. Вопрос о происхождении этих говоров пока нельзя считать решенным.

¹ См. Z. Stieber. Wschodnia granica Łemków. — «Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności», t. XL (1935); Wpływ polski i słowacki na gwary Łemków. — «Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności», t. XLI (1936); Toponomastyka Łemkowszczyzny, część I. Nazwy miejscowości. Łódź, 1948; część II. Nazwy terenowe, 1949 и др.

Известный чешский диалектолог-украинист И. Панькевич считает, что в прошлом на Лемковщине были распространены говоры типа современных бойковских, образовывавшие с этими последними единое целое². Под воздействием соседних словацких и польских говоров они постепенно видоизменялись и в результате обособились в отдельную, лемковскую группу. Атлас З. Штибера в известной степени подтверждает это предположение И. Панькевича. Так, на целом ряде карт в восточной части исследуемой территории представлены типичные бойковские (или общеукраинские, свойственные и бойковским говорам) черты, а в западной и центральной частях как их эквиваленты выступают соответствующие словакизмы или полонизмы. При этом знаменательно, что и здесь, на западе, нередко встречаются в виде островков (часто наряду с полонизмами, словакизмами) такие же бойковские элементы. Например (первыми приводятся западнолемковские черты — западнославянские по происхождению, а вторыми — соответствующие им восточнолемковские явления, свойственные бойковскому диалекту или общеукраинские): *kwanic'i*, *kľan'ic'i*, *kľonyc'i*³ и др.: *ručyc'i* и др. 'часть воза, один из четырех колышков, которые поддерживают бока кузова' (карта № 23); *p'in'az'i* и др.: *hrošy*, *hroši* и др. 'деньги' (№ 34); *k'erpc'i*, *kyrpc'i* и др.: *zodaky* и др. 'постолы' (№ 48); *bujak*: *buhaj* и др. 'бык-производитель' (№ 86); *hača* и др.: *žerebja*, *žerebl'a* и др. 'жеребенок' (№№ 101, 102); *strom*, *strim* 'фруктовое дерево', 'дерево возле дома' в западной части Лемковщины при отсутствии этого западнославянизма в восточной ее части (№ 164); *tlok*, *twok*, *twik*, *tloka*: *tołok*, *tołoka*, *tołoká* и др. (№ 219); *strana*: *storona*, *storoná* (№ 233); *čłówek* и др.: *čoto-wik* и др. (№ 243); ср. также карты №№ 33, 64, 66, 83, 118, 131, 211 и многие другие.

Карты атласа дают богатые сведения о западно-славянском (польско-словацком, польском, словацком) влиянии на лемковские говоры, о географическом распространении этого влияния: *stryx* 'чердак' (№ 2); *pес*, *p'ес*, *piec* 'печь' (№ 5); *bojisko*, *bojysko* и др. 'гумно' (№ 17); *zloto*, *zwoto*, *zlato*, *złato* и др. 'золото' (№ 33); *p'in'az'i* и др. 'деньги' (№ 34); *košul'a*, *košel'a* и др. 'сорочка' (№ 49); *mydło*, *mudwo* и др. 'мыло' (№ 55); *pidgarla* и др. 'погрудок у коров' (№ 83); *skopec*, *skop'ec* и др. 'подойник' (№ 107); *ogin*, *ogyn* и др. 'хвост' (№ 118); *słowik*, *słow'ik*, *słowiak* 'соловей' (№ 143); *wentka*, *wyntka*, *wontka* 'удочка' (№ 151); *gacok*, *gacyk*, *gacko* 'летучая мышь' (№ 152); *perhač*, *pyrhač*, *pyrhač*, *pyr'hač*, и др. 'летучая мышь' (№ 153); *žridło*, *žrydło*, *žrudło*, *žradło* 'источник' (№ 231); *hew*, *h'ew*, *haw*, *how* 'здесь, в этом месте' (№ 236) и много других. Говоры южной части Лемковщины, в частности лемковские говоры, находящиеся на территории Чехословакии, характеризуются многими типичными словацкими наслоениями: *oblak*, *oblak* и др. 'окно' (№ 3); *olowranok*, *olowrant* и др. 'закуска' еда перед ужином' (№ 66); *draha* 'дорога' (№ 211); *kukička*, *kokička* 'кукушка' (№ 142) и др.

Названные западнославянизмы, безусловно, заимствовались лемковскими говорами в разное время. Широкий круг этих наслоений является бесспорным свидетельством значительной роли соседних западнославянских (польских и словацких) говоров в процессе формирования

² И. Панькевич. Лемківсько-бойківська границя в Чехословаччині. — «Літопис Бойківщини», ч. 10, Самбір, 1938, стр. 91—92. Более обстоятельно об этом см. в его работе «До питання генези українських лемківських говорів», — «Славянська філологія. Сборник статей», II, М., 1958, стр. 164—197.

³ Здесь и дальше в примерах сохраняется транскрипция З. Штибера. Отсутствие ударения обозначает, что акцентируется второй слог от конца (как в польском языке).

системы лемковских говоров как на северных, так и на южных склонах Карпат. Правда, сетка населенных пунктов атласа составлена так, что польские наслонения на картах атласа прослеживаются более последовательно и полно, чем словацкие (см. ниже).

Атлас дает определенный материал и о влиянии на лемковские говоры неславянских языков. Так, к числу специфических лемковских или лемковско-закарпатских германизмов можно было бы отнести *rajbati* 'стирать на руках' (№ 53); *žoxtar*, *žoxtar* 'подойник' (№ 107) и др. Область западной Лемковщины, в частности район Спиша, подверглась довольно ранней германской колонизации (XIII в.), и обстоятельное изучение украинско-немецких, словацко-немецких и польско-немецких языковых связей, безусловно, представляет значительный научный интерес. Круг венгеризмов составляют: *bočkory* 'постолы' (№ 48); *duhan*, *duhán* 'табак' (№ 70) *začkiw*, *začkowyk*, *začkiwča* и др. 'кисет' (№ 78); *iuhas*, *iuhás*, *tihas*, *iohas* 'чабан' (№ 116); *walal*, *wałal* 'село' (№ 213). Есть основания предполагать, что значительная часть венгеризмов распространилась в лемковские, как и в западнозакарпатские⁴ говоры, через восточнословацкое посредничество.

Ученые разных стран (СССР, Чехословакии, Польши, Румынии и др.) с большим интересом продолжают изучение карпатской культуры⁵, в том числе пастушеской культуры и валашской колонизации Карпат в XIII—XVII вв. Рецензируемый атлас дает значительный материал для решения и уточнения ряда вопросов этой сложной и интересной проблемы. Ср., например, распространение в Лемковщине терминов пастушества, большинство которых румынского происхождения: *strunga*, *strunka*, *struna* 'загон для овец, определенная часть этого загона' (№ 106); *kl'ak* 'часть желудка жвачного животного, употребляемая для створаживания молока' (№ 112); *rynza*, *rynža*, *rinza*, *ryncka* 'телячий желудок' (№ 113); *kurastra*, *korastra*, *kurasta*, *kurastwa* 'молозиво' (№ 114) *g'eleta*, *g'eleta*, *g'eleta*, *g'eletka* и др. 'вид деревяного подойника', 'кадушечка для масла' (№ 111) и др. Эти материалы, как и данные атласов карпатских районов⁶, позволяют достаточно четко определить пути, основные направления и интенсивность валашской колонизации.

Таким образом, для исследователя межъязыковых взаимосвязей района западных Карпат рецензируемый атлас является источником первостепенной важности.

В существующей литературе, как известно, еще не давалась классификация лемковских говоров. Различались, правда, говоры галицких лемков и говоры венгерских или закарпатских лемков (лемаков). Но основой этого деления был, главным образом, аспект географический и административно-политический, а не лингвистический. По мнению известного исследователя этих говоров И. Верхратского (его монографии о говорах галицких и закарпатских лемков и до настоящего времени сохраняют научную ценность), «основные черты языка галицких лемков и венгерских лемаков одни и те же; иными словами, все говоры

⁴ См.: Й. О. Дзендзелівський. До питання про обласні лінгвістичні атласи. — «Наукові записки (Ужгородського університету)», т. XXXV, Ужгород, 1958, стр. 27.

⁵ В 1959 г. організована спеціальна Міжнародна комісія по изучению карпатської культури (МККК), см. бюлетень этой комісії «Carpatica», № 1, Bratislava, 1960; № 2, 1961. Некоторое недоумение, правда, вызывает тот факт, что лингвисты в этой комиссии пока почему-то не принимают участия.

⁶ М. Małeckі, K. Nitsch. Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Kraków, 1934; Й. О. Дзендзелівський. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. Лексика, ч. I. Ужгород, 1958; ч. II, 1960.

галицких лемков и венгерских лемаков относятся с точки зрения основных языковых признаков к одному диалекту»⁷. Рецензируемый атлас впервые дает возможность провести довольно детальную и точную классификацию говоров Лемковщины (особенно говоров галицких лемков). Так, говоры галицких лемков довольно четко подразделяются на восточную и западную группы, граница между которыми проходит западнее линии Крулик Волоский—Шкляры—Воля Нижня—Воля Вижна (район перевала Дукля, см. карты №№ 20, 23, 42, 48, 63, 87, 101, 154, 160, 247, а также №№ 33, 69, 243 и др.). В границах восточнолемковской группы говоров более или менее рельефно различаются подгруппы северо-восточная, включающая в себя говоры на юг и на запад от города Санока (см. карты №№ 1, 4, 114, 171, 194, 195 и др.), и юго-восточная, которая охватывает говоры верхней части бассейна р. Ославы и левобережья верхнего Сана (см. карты №№ 12, 17, 26, 45, 67, 71, 105, 123, 138, 153, 203, 208 и др.). Значительным количеством специфических черт характеризуются говоры южной или закарпатской (чехословацкой) части Лемковщины (см. карты №№ 33, 57, 66, 213, а также №№ 78, 120, 122, 187 и др.). Желательно, чтобы в заключительном выпуске атласа были помещены и сводные карты, которые могли бы дать более полное представление о диалектном членении Лемковщины.

Остановимся подробнее на некоторых частных вопросах рецензируемого труда З. Штибера.

Материал, на основании которого составлялись карты атласа, собирался автором в каникулярное время в 1934 и 1935 гг. по специальному вопроснику, включавшему 391 вопрос. Во вводной части автор отмечает, что собранный им материал предназначался для монографического описания лемковских говоров, а не для составления атласа⁸. Однако в связи с изменением состава населения исследуемой территории после окончания войны З. Штибер решил на основании ранее собранного материала составить лингвистический атлас. Это оказалось возможным, так как материал везде собирался по одному и тому же вопроснику.

Не все 80 населенных пунктов, включенных в сетку атласа, обследованы одинаково тщательно и полно. Материал по всему вопроснику собран лишь в 46 населенных пунктах, в 7 пунктах получены ответы на большую часть вопросов, а в 32 пунктах — только на некоторые вопросы (правда, часть этих пунктов не была включена в сетку атласа). Материал по 8 населенным пунктам, включенным в сетку, взят автором из записей проф. П. Зволинского, который принимал участие в экспедиции 1935 г. (как студент З. Штибера). Для двух населенных пунктов использованы данные регионального атласа польского Подкарпатья М. Малэцкого и К. Нича. Поэтому для определенной части населенных пунктов почти на всех картах пяти выпусков атласа данные отсутствуют. Такие «белые пятна» особенно часто встречаются на картах юго-западного и северо-восточного районов картографируемой территории. Значительное число карт составлено на материале, собранном в сравнительно небольшом количестве пунктов. Так, например,

⁷ І. Верхратський. Про говор галицких лемків. Львів, 1902, стр. 2. См. также: І. Панькевич. Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей, ч. І. Прага, 1938, стр. 372—382; Ф. Т. Жилко. Говори української мови. Київ, 1958, стр. 133—139.

⁸ Этот материал был использован в работе «Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych». Kraków, 1938. Перед самым началом второй мировой войны на основании этого материала З. Штибер подготовил монографию «Dialekt Łemków», которая осталась не напечатанной.

карта № 73 фиксирует материал только 11 сел; на карте № 180 имеются ответы только из 12, а на картах №№ 84, 179 — из 15 пунктов; см. также карты №№ 111, 129, 190, 229, 234, 240 и др. Следует при этом заметить, что картографируемые на этих картах слова отнюдь не относятся к категории редких (*віл*, *верба*, *калина*, *озеро*, *бік*, *звідки* и т. п.). Если бы лемковские говоры и сейчас еще существовали на данной территории, можно было бы ставить вопрос о целесообразности включения таких карт в атлас. Понятно, что значительное количество «белых пятен» объясняется характером материала, собранного З. Штибером первоначально для монографического описания. Однако недостающий материал, по нашему мнению, в какой-то мере можно было восполнить путем более или менее полного использования печатных работ о лемковских говорах других исследователей, в частности, И. Верхратского, В. Гнатюка, И. Зилинского, И. Шемлея, И. Панькевича и др. Приведем такой пример. Материал говора с. Явирки (пункт № 1) отсутствует на 168 из 250 карт атласа.

Между тем, по нашим подсчетам, из обстоятельного описания этого говора И. Зилинского⁹ можно извлечь около 80 недостающих ответов, в частности для карт №№ 5, 7, 10, 22, 26, 32, 35, 37, 38, 45, 55, 58, 64, 68, 78, 89, 135, 139, 145, 170, 172, 217, 236, 237, 238, 243, 245, 248, 249 и многих других. Использование этого исследования И. Зилинского тем более правомерно, что он собирал материал почти одновременно с З. Штибером и что транскрипция его работы почти ничем не отличается от транскрипции рецензируемого атласа.

На точности карт атласа и, по-видимому, в особенности на точности комментариев к картам не мог не отразиться отрицательно значительный интервал (более 20 лет) между временем собирания материала и временем его картографирования; как говорит и сам автор, он в ряде случаев не мог понять некоторые подробности в своих собственных давних записях. В целом же научная достоверность и точность карт атласа не может вызывать каких-либо сомнений, ибо использованный для их составления материал собирался и впоследствии изучался вполне квалифицированно.

Вопросник, по которому проводился сбор материалов для атласа, по нашему мнению, в основном удачен. Он включает вопросы по лексике, словообразованию, фонетике, морфологии. В вопроснике очень богато и разнообразно представлена древняя славянская бытовая и производственная лексика. Меньше внимания уделено абстрактной лексике. Учитывая характер исследуемых говоров и их географическое размещение, З. Штибер при составлении лексического раздела вопросника обратил надлежащее внимание и на западнославянизмы (польские и словацкие заимствования), на так называемые карпатские слова, относящиеся к пастушеской культуре, на специфические лемковские слова. Уже имеющиеся карты, как отмечалось выше, дают богатейший материал о словацко-украинских и польско-украинских языковых связях в исследуемом районе.

Состав рецензируемых выпусков атласа такой: а) собственно лексические карты, фиксирующие разнокоренные названия (и их фонетические и словообразовательные варианты) для одинаковых предметов и понятий — 77 карт; б) фонетические варианты отдельных слов — 100 карт; в) фонетико-грамматические варианты форм отдельных слов — 7 карт; г) словообразовательные варианты однокоренных слов (с их фонетиче-

⁹ І. Зілінський. Лемківська говірка села Явірок. — «Lud słowiański», t. III/2, Kraków, 1934.

скими вариантами), обозначающие одинаковые предметы, — 62 карты; д) фиксация наличия определенных слов — 4 карты. Таким образом, и фонетические, и грамматические явления в атласе прослеживаются только на отдельных (единичных) словах. В опубликованных пяти выпусках атласа нет ни одной карты, которая бы давала географическую проекцию какой-то системной фонетической или грамматической черты лемковских говоров; такие карты автор обещает дать в заключительном выпуске.

Карты в атласе размещены по тематическому принципу в такой последовательности: названия крестьянского жилого дома и связанный с ними круг лексики, названия сельскохозяйственных орудий, названия металлов, ткацкие термины, названия одежды, названия посуды, кушаний, названия, относящиеся к животноводству, горному пастушеству, названия домашних и диких животных, названия насекомых, деревьев, ягод, сельскохозяйственных культур и т. д. Правда, следует отметить, что эта последовательность иногда не выдерживается и по неизвестным причинам нарушается. Например, карта № 39, где картографируются названия косья, почему-то помещена не среди карт о сельскохозяйственных терминах, а среди карт о названиях металлов и терминах ткачества. Карта № 68 (названия ложки) ошибочно помещена среди карт, отражающих названия кушаний; место ее, конечно, среди карт о названиях посуды и т. п.

Заметим также, что и в областном атласе, каким является рецензируемый труд З. Штибера, были бы очень полезны вспомогательные карты, в частности исторические, этнографические и, учитывая горный характер исследуемой территории, особенно физическая карта.

В сетку населенных пунктов атласа включено 80 сел, из которых 72 расположены на территории Польши, а 8 — на территории Чехословакии. Следует заметить, что плотность сетки в разных районах исследуемой территории не равномерна. Наиболее обстоятельно обследована северо-восточная часть Лемковщины, в меньшей мере — центральная северная часть, наиболее же редкая сетка — в западных и, особенно, в южных районах, т. е. как раз там, где контакты украинских говоров со словацкими и польскими наиболее ощутимы. Понятно, что, если бы плотность сетки обследованных населенных пунктов в южных районах (на территории Чехословакии) была бы большей (по крайней мере такой же, как в северо-западной части исследуемой территории), то карты рецензируемого атласа были бы значительно более детальными; в частности полнее можно было бы проследить словацкие наслоения в этом районе. Отметим, что в этой части Лемковщины (она, как отмечалось, находится в Чехословакии) состав населения после второй мировой войны не подвергался каким-либо значительным изменениям, и поэтому здесь, вероятно, можно было дополнительно обследовать еще ряд украинских сел. Это позволило бы устранить неравномерность густоты сетки населенных пунктов и показать более точно соотношение между польскими и словацкими заимствованиями в лемковских говорах.

Очевидно, нельзя согласиться с тем, что включенные в сетку атласа населенные пункты на отдельных картах подменяются соседними селами, которые в сетке вообще не числятся (см. комментарии к картам №№ 101, 103, 105, 116, 130, 136, 139, 157, 177, 184, 194, 195, 201, 221 и др.). Соображения автора здесь понятны — желание возместить отсутствующие ответы из отдельных пунктов имеющимися материалами из не включенных в сетку соседних пунктов. Но такой материал (который следует расценивать только как дополнительный), по нашему мнению, можно приводить только в комментариях (как в ряде случаев и

делает З. Штибер, см. комментарии к картам №№ 57, 58, 60, 96 и др.), но не картографировать.

Привлекает к себе внимание использованная в атласе система картографических знаков и вообще техника (методика) картографирования. Картографируемые соотносительные явления на картах атласа передаются при помощи специальных картографических знаков, которые ставятся справа от номеров населенных пунктов (пунктовая сигнальная система). Однако следует отметить, что в рецензируемом атласе почти полностью отсутствует какая-либо определенная последовательность в употреблении картографических знаков (во вступительной части атласа об этом специально тоже ничего не сказано). Употребляемые на картах знаки (их форма и т. п.) сами по себе не отражают структурных соотношений картографируемых явлений, т. е. при помощи самой конфигурации знаков не различаются фонетические, акцентные, морфологические или словообразовательные варианты слова и т. п.¹⁰. Автор не различает основных и дополнительных противопоставлений. Понимание языка как системы, очевидно, требует того, чтобы в самой системе картографических знаков были какие-то общие различительные приметы при передаче на лингвистической карте (в частности лексической) разных в структурном отношении качеств (например, словообразовательные варианты слова можно, скажем, передавать при помощи разных фигур — круга, треугольника и т. п., а фонетические варианты — при помощи просветов или штриховок этих фигур и т. п.; сравни, например, употребление картографических знаков в «Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», Москва, 1957). Для лучшей наглядности, а вместе с тем для последовательности употребления картографических знаков следовало бы параллельно употребляемые формы или названия в каком-либо из населенных пунктов картографировать соответствующими знаками, которые приняты для изображения этих форм на данной карте (т. е. ставить два или три соответствующих знака рядом), а не вводить в таких случаях специальные знаки, см. карты №№ 1, 3, 13, 20, 21 и др. Отметим также, что понимание языка как системы подсказывает (если не обязывает) варианты одного и того же по происхождению слова с регулярными фонетическими изменениями картографировать одним общим знаком, а не разными для отдельных таких вариантов, как это имеет место в рецензируемом атласе.

Карты атласа выполнены в одном (черном) цвете. Отсутствие ответа из того или другого пункта обозначается контурным кружком. Может быть, в таких случаях лучше было бы (нагляднее) просто оставлять номер такого пункта без картографического знака. Не разработан в атласе вопрос о передаче на карте реже употребляемого в том же самом пункте параллельного названия или варианта. Не используются отсылочные знаки. Нет в атласе постоянного знака для обозначения отсутствия названия для картографированного понятия в той или другой части пунктов исследуемой территории. В одних случаях это обозначается контурным кружком с косой черточкой в середине (№№ 13, 15), в других — контурным кружком с косым крестом (№ 16), в третьих — контурным кружком с точкой (№ 43), в четвертых — контурным кружком с маленьким кружком в середине (№№ 62, 103, 154, 212). Заметим, что эти же картографические знаки на других картах употребляются

¹⁰ Этот недостаток, впрочем, характерен не только для рецензируемого атласа. См., например: К. De j n a. *Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski*. Łódź, 1951; «Micul atlas lingvistic român, serie nouă», vol. I, Editură academiei Republicii Populare Romîne, 1956 и др.

и с другим значением. Это создает некоторые неудобства при пользовании атласом. Гораздо удобнее, чтобы значения общего характера (например, отсутствие ответа и т. п.) на всех картах атласа имели свою специальную систему обозначения (подобно тому, как в словаре от начала до конца используется определенная система помет).

Что касается легенд карт, то здесь совершенно не ясно, по какому принципу и в какой последовательности размещаются в легенде картографируемые фонетические и словообразовательные варианты слова. Ибо в одних случаях в легендах первыми подаются литературные или близкие к ним варианты, в других же на первом месте стоят специфически диалектные (иногда даже узколокальные) формы. Для составителя атласа, как мы заметили, не имели значения и такие обстоятельства, как периодичность употребления (распространение) вариантов или оценка их с точки зрения происхождения, последовательности образования и т. п. Так, например, на карте № 26 (названия плуга) наиболее близкая к литературной и в то же время наиболее распространенная на картографируемой территории форма *plux* поставлена в легенде на втором месте, очень близкий к ней вариант *plux* — на четвертом, а форма *rix* на первом. Кроме того, непонятно, почему между *plux* и *plux* вклинилась форма *p^uix*. С точки зрения взаимосвязей все пять засвидетельствованных на этой карте фонетических вариантов (*rix*, *plux*, *p^uix*, *plux*, *pwix*), по нашему мнению, следовало бы разместить в такой последовательности: *plux*, *plux*, *pwix*, *p^uix*, *rix*. На карте № 71 (названия обеда) вариант *potúdenok* (-d^o-) дан на шестом месте, *potúdenok* (pó-) на втором, *polúdenok* на третьем, а *powúdenok* — на первом. Между *potúdenok* (pó-), *polúdenok* и *potúdenok* (-d^o-) вклиниваются варианты *polidenok*, *poldenok*; см. также карты №№ 101, 169, 201 и многие другие. Это замечание существенно не только с точки зрения методики самого технического исполнения карты; в этом случае теряется не столько сама наглядность карты (изображения изоглосс или языковых ландшафтов), сколько оценка (квалификация) картографируемых фактов на общем фоне системы языка, с одной стороны, и определение взаимосвязи между этими картографируемыми фактами, с другой стороны.

При некоторых из картографированных слов в легендах карт не были бы лишними пометы о грамматическом роде и числе. Например, картографируемые на карте № 212 названия полевой дороги *put*, *put'* в лемковских и в некоторых других западноукраинских говорах могут иметь различный грамматический род. Это замечание относится также к картам №№ 5, 15, 19, 46, 56, 170, 190, 219, 220 и др.

На некоторых лексических картах названия подаются не в основной грамматической форме. Например, на карте № 23 *ručyc'i*, *kłan'ic'i*, *kłonyc'i* и др. даны в формах множественного числа, хотя эти слова обычно употребляются и в единственном числе. Комментарий, где можно было бы найти пояснения по этому поводу (возможно, автор зафиксировал только формы множественного числа), к этой карте отсутствует. См. также карту № 24 и др.

В ряде случаев разные названия одной реалии картографируются на отдельных картах. Например, на картах №№ 101, 102 представлены названия жеребенка, причем на первой даны названия *žerebja*, *žyrybja*, *žerebiá*, *žyrybiá*, *žyrybiá*, *žerebl'á*, которые бытуют в восточной части Лемковщины, а на второй — *hača*, *hača*, которое употребляется в западной и центральной части исследуемой территории. Целесообразность этого деления непонятна, ибо параллельных названий здесь совсем немного (они отмечаются всего в пяти пунктах — №№ 42, 44, 56, 58 и 67),

следовательно перегрузки карты быть не может. Если бы весь этот материал был картографирован вместе, на одной карте, то получилось бы цельное представление о названиях жеребенка на всем пространстве лемковских говоров. См. также карты №№ 107 и 108, 188 и 189.

Формулировки (названия) тем карт иногда слишком общие и не всегда помогают пониманию карты. Поэтому в таких случаях (хотя бы в комментариях) необходимо было дать некоторые пояснения, уточнения. Например, тема карты № 39 — «odzież», но здесь не ясно, идет ли речь об общем названии одежды, или о каких-то ее видах. Необходимость замечаний о семантическом объеме картографируемых диалектных названий одежды в данном случае возникает еще и в связи с тем, что имеется карта № 40, составленная на тему «ubranie, łachy, szmacie». Тема карты № 176 сформулирована так: «Wygazy „judyna“, „judasz“, „skoruch“, „tjabec“». Но ведь это названия разных предметов. Лексической карты здесь получить нельзя, общих же фонетических или грамматических явлений эти слова не имеют. Неясны темы карт №№ 40, 50, 93 и некоторых других. Названиям кисета посвящены две карты (№ 78 и 79); но ни в названиях карт, ни в комментариях к ним ничего не сказано о том, в чем различие этих видов кисета и т. п. Может быть разбивка материала на две карты здесь сделана из каких-либо иных соображений (во избежание перегрузки карты)?

В объяснениях (комментариях) к картам, вообще составленным очень лаконично (во втором выпуске, например, комментарии к 50 картам занимают неполные три страницы; в каждом же из трех последних выпусков — по две неполные страницы), приводится ряд дополнительных замечаний о фонетических, грамматических стилистических, семантических и других особенностях картографированных слов и их вариантов. Многие карты (79 карт) вообще не снабжены никакими комментариями.

Изложенные выше критические замечания касаются главным образом технической стороны дела (некоторые из них обусловлены тем, что использованный материал первоначально собирался не для атласа, а для монографии) и, конечно, ни в какой степени не снижают высокого научного достоинства рецензируемого труда проф. З. Штибера. Ценность и значение этого труда увеличиваются еще и потому, что на исследуемой территории, которая, как отмечалось выше, очень интересна с точки зрения изучения взаимовлияний родственных украинского, словацкого и польского языков, произошла необратимая смена населения, и теперь уже не представится возможностей провести еще какую-либо значительную работу, которая бы пополнила сведения об этих говорах. В связи с этим лингвистический атлас проф. З. Штибера навсегда останется наиболее обстоятельным трудом о лемковских украинских говорах.

П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРАВОПИСАНИЯ СЕРБОХОРВАТСКОГО ЯЗЫКА

В 1960 г. в Югославии были изданы новые правила правописания сербохорватского языка¹. Они привлекли глубокое внимание не только специалистов, но и всех интересующихся судьбой сербохорватского литературного языка.

Путь сербов, хорватов и черногорцев к политическому, экономическому и культурному объединению был труден и сложен. Это нашло отражение и в том, что до последнего времени в литературном языке этих народов сохранялась известная двойственность. Она проявилась в наличии:

- а) двух алфавитов (латинского и кириллического);
- б) двух норм литературного произношения (экавского и екавского);
- в) различий в лексике (особенно в терминологии) и в нормах правописания в областях, тяготеющих к крупнейшим культурным центрам — Белграду и Загребу.

Совсем недавно были актуальны дискуссии о единстве сербохорватского литературного языка. Хорошо известны сомнения, высказываемые по этому поводу Дж. Даничичем. В 1940 г. П. Губерина и К. Крстич доказывали существование самостоятельных сербского и хорватского литературных языков. Указания на отдельные сербский и хорватский языки находим во многих (даже новейших) пособиях по языкознанию. Об отсутствии единства взглядов по этому вопросу свидетельствует, в частности, и то, что у нас для названия сербохорватского языка используется несколько терминов. Практически теория, отрицающая единство литературного языка сербов, хорватов и черногорцев, в послевоенной Югославии проявилась в том, что в ряде случаев книги, написанные на сербохорватском языке, переводились с одного варианта литературного языка на другой.

Эти обстоятельства и обуславливают глубокий интерес широких кругов к новым правилам правописания. Как решается в них вопрос единства литературного сербохорватского языка? Устраняют ли правила 1960 г. и в какой степени отмеченную выше двойственность, в частности, двойственность в лексике и в нормах правописания?

Прежде всего важно отметить, что новый свод правил правописания официально закрепляет и утверждает на практике положительное решение вопроса о единстве сербохорватского литературного языка. Всю свою деятельность комиссия по выработке новых правил правописания

¹ «Правопис српскохрватског књижевног језика». Издао је правописна комисија. Нови Сад, Загреб, Матица српска, Матица хрватска, 1960, 831 стр.

строила в соответствии с теоретическим положением совещания лингвистов (Нови Сад, 1954) о том, что литературный язык сербов, хорватов и черногорцев, развивающийся на основе общего для них народного языка вокруг двух главных культурных центров — Белграда и Загреба, — является единым языком с двумя нормами произношения (стр. 7).

Этим решением как бы подводится итог спорам о преимуществах латинского или кириллического алфавитов, экавского или екавского наречий, длившимся более 50 лет. Оба алфавита объявляются равноправными, перед школами и культурными учреждениями ставится задача добиться того, чтобы все грамотные люди владели и кириллицей и латиницей в одинаковой степени. Полностью равноправными признаются также экавская и екавская нормы произношения. Как бы символизируя это равноправие обоих алфавитов и наречий, новые правила сербохорватского правописания опубликованы одновременно в идентичных изданиях кириллицей и латиницей в городах Нови Сад и Загреб.

Выше уже было указано, что двойственность наблюдалась и в нормах правописания. В областях, тяготеющих к Белграду, пользовались в последнее время в основном правилами правописания А. Белича, в областях, тяготеющих к Загребу, — правилами Д. Боранича. Ниже мы проследим решение основных конкретных вопросов, по которым между белградской и загребской орфографическими нормами имелось расхождение.

I. Белградское и загребское правописание расходились при определении правил написания прописных букв в названиях сел, городов, государств и других географических объектов, состоящих из нескольких слов. По А. Беличу каждое из слов, составляющих это название (кроме служебных слов, не стоящих в начале его) писалось с прописной буквы: *Јадранско Море, Дуго Село, Црна Гора*. По Д. Бораничу родовые названия, входящие в эти сочетания, писались со строчной буквы: *Јадранско море, Дуго село*.

Новые правила правописания предлагают следующее решение этого вопроса:

а) в названиях сел, городов, стран, государств и континентов, состоящих из двух или нескольких слов, каждое слово (кроме служебных) пишется с прописной буквы: *Нови Сад* (город), *Дуго Село* (село), *Црна Гора* (республика) и т. п.

б) в сложных наименованиях остальных географических объектов (морей, островов, гор и т. п.) с прописной буквы пишутся только индивидуальные названия, а родовые (номенклатурные) названия объектов пишутся со строчной буквы: *Јадранско море, Балканско полуострво, Плитвичка језера* и т. п.

II. А. Белич допускал в екавском наречии в ряде слов двойное произношение и написание приставки *пре* (< *прѣ*). Исторически ѣ в этой приставке было долгим и потому закономерно заменяется на *-ије-*. Однако в некоторых словах наряду с *-ије-* произносится на месте ѣ односложное *е*. Оба варианта А. Белич признавал литературными: *пријенис* = *препис*, *приједлог* = *предлог*, *пријевоз* = *превоз*, *пријенос* = *пренос*. Правила Д. Боранича считали литературным лишь такое написание, где долгое ѣ имеет двухсложную замену, т. е. правильными считались только *пријенис*, *приједлог*, *пријевоз*, *пријенос*.

Оба правила в решении этого вопроса недостаточно учитывали произношение слов с приставкой *пре* (< *прѣ*) на территории екавского наречия. Наблюдения показали, что слов с возможной двойкой заменой старого ѣ значительно больше, чем указал А. Белич, причем во многих случаях дублиеты с односложной заменой так широко распространены,

что продолжать считать их и дальше нелитературными, как это делал Д. Боранич, было бы слишком искусственно.

Новые правила в большей степени учитывают оба варианта произношения и в екавском варианте литературного языка допускают двойное написание значительно большего числа слов с приставкой *пре*, нежели допускал А. Белич.

III. В говорах сербохорватского языка судьба согласного *х* различна. В одних говорах согласный *х* сохраняется, в других — не произносится вообще, в третьих — в некоторых положениях заменяется звуками *в* или *ј*. В правилах А. Белича и Д. Боранича, определяющих написание *х*, принципиальных расхождений не было: каждое из них ориентировалось на особенности произношения в своей области. В новых правилах отражены обе точки зрения. Произношение и написание *х* обязательно в тех случаях, где вместо него не развился другой звук. В тех же случаях, когда вместо *х* в некоторых говорах развились звуки *в* и *ј*, правила объявляют равноправным написание слов с *х*, с *в* и с *ј*. Например: *ухо* = *уво*, *леха* = *леја*, *муха* = *мува*, *кихати* = *кијати*.

Лишь в отношении некоторых слов, которые на большей части территории сербохорватского языка распространены преимущественно в одной форме (только с *х*, с *в*, с *ј*) вопрос решен более определенно:

а) только с *х* пишутся: *задах*, *смех*, *одмах*, *чоха*, *крух*, *грах* и некоторые другие;

б) только с *в*: *буздован*, *зевати*, *марва*, *твор*;

в) только с *ј*: *проја*, *аждаја*, *промаја*, *јендек*.

IV. Ввиду нечеткого произношения согласного *ј* после *и* между белградскими и загребскими правилами были расхождения по вопросу о написании прилагательных, образованных с помощью суффикса *-ск-* от существительных на *-ија-*. А. Белич отдавал предпочтение написанию без *ј* (*Шумадија* — *шумадиски*), хотя и допускал написание с согласным *ј* (*шумадијски*). Д. Боранич считал единственно правильным написание с *ј*. Новые правила правописания подтверждают правило Д. Боранича: написание с *ј* является обязательным (*армија* — *армијски*, *лутрија* — *лутријски*. *Шумадија* — *шумадијски* и т. д.).

V. Правила А. Белича допускали двойное написание притяжательных прилагательных на *-ји* в тех случаях, когда перед *ј* находятся *ж*, *ч*, *ш*, *з* (*вражји* = *вражији*, *мачји* = *мачији*, *мишији* = *мишији*, *козји* = *козији*). Д. Боранич считал литературной только первую форму. Новое правописание приняло точку зрения А. Белича.

VI. Раздел о чередовании конечпослогового *л* с *о* также представляет собой контаминацию правил А. Белича и Д. Боранича. В современном языке чередование *л/о* последовательно происходит лишь в причастиях действительного залога прошедшего времени (*читао*, *био*), в именах женского рода на *-оница* (*читаоница*, *радионица*), в именах существительных мужского и женского рода, имеющих беглое *а* в именительном падеже единственного числа и оканчивавшихся ранее на *л* (*котао*, *мисао*, *смисао*, *орао*, *посао*, *сврдао*, *угао*, *осао*). В остальных случаях чередование *л/о* у существительных и прилагательных проводится нерегулярно:

а) чередование *л/о* обязательно: например, *пепео*, *вео*, *део*, *раздео*, *деоба* и др.

б) чередования *л/о* не происходит: *бол*, *вал*, *печал*, *глагол* и т. п.

в) одинаково правильны формы с чередованием *л/о* и без чередования: *до* = *дол*, *соко* = *сокол*, *со* = *сол*, *сто* = *стол* и др.

Как видно из сказанного, новые правила регистрируют все варианты произношения и признают их литературными. В результате резко уве-

личивается число возможных дублетов, в которых допускается двойное написание.

VII. Наиболее последовательным фонетическим чередованием, характерным для сербохорватского языка, является ассимиляция согласных по глухости/звонкости. Звонкий согласный, оказавшись в положении перед глухим звуком, оглушается.

Однако еще В. Караджич считал необходимым оставлять неизменным *đ* в положении перед *с* и *ш*, исходя из того, что оглушение *đ* в этих случаях может привести к затемнению этимологии слова (*градски* > *гратски* > *грацки*).

По последним правилам А. Белича *đ* перед *с* должно обязательно заменяться на *т* (*председник* > *претседник*), кроме тех случаев, когда за ним следует суффикс *-ств-* у существительных (*људство*) или суффикс *-ск-* у прилагательных (*људски*). По правилам Д. Боранича согласный *đ* оставался неизменным не только перед *с*, но и перед *ш*, *ч*, *џ* и *ћ* (*одсјек*, *подишишати*, *подцијенити*, *надчовек*, *одћуинут*).

Новый свод правил правописания возвращается к нормам В. Караджича: «если *đ* окажется в положении перед *с* или *ш*, оно при написании остается неизменным независимо от его положения в слове: *представа*, *одступити*, *председник*, *потпредседник*, *градски*, *људски*, *војводство*, *људство*, *средство*, *водство*, *одшетати*, *кадито*, *одштампати*, *подишишати*» (стр. 63).

VIII. Правилами А. Белича местоимения *тко*, *сватко*, *нитко*, *нетко* и т. п. объявлялись нелитературными. Правильными признавались только *ко*, *свако*, *нико*, *неко* и т. п. Д. Боранич, наоборот, считал литературными только первые формы. Новый свод правил допускает двойное написание: *ко* = *тко*, *свако* = *сватко*, *нико* = *нитко*, *неко* = *нетко* и т. д.

IX. Новые правила устанавливают более четко условия уподобления *н* губным согласным:

а) в простых или производных словах *н* перед губными согласными чередуется с *м*: *химба* (< *хинба*), *зелембаћ* (< *зеленбаћ*), *стамбени* (< *станбени*), *прехрамбени* (< *прехранбени*);

б) в сложных словах, когда *н* расположено на границе частей слова, уподобление его губным не происходит: *једанпут*, *странпутица*, *црвенперка*, *воденбуба*, *ванбрачни*, *ванпартијски*;

X. В правилах о слитном и раздельном написании слов одно из расхождений состояло в том, что А. Белич считал правильным слитное написание отрицательной формы глагола *хтети* (*нећу*, *нећеш*, *неће* и т. д.), а Д. Боранич — раздельное (*не ћу*, *не ћеш*, *не ће* и т. д.). Новым правилом устанавливается одно написание — слитное.

XI. Авторы белградского и загребского правописания по-разному решали вопрос о написании глаголов в будущем времени (футур I), когда вспомогательный глагол находится после инфинитива. А. Белич устанавливал слитное написание (*видећу*, *носићу*). Д. Боранич считал правильным только раздельное написание (*видет ћу*, *носит ћу*). Члены комиссии не пришли к единому мнению. Правила допускают двойное написание (*видећу* = *видет ћу*, *носићу* = *носит ћу*), мотивируя это тем, что оба способа написания имеют длительную традицию и свою обоснованность.

XII. Новые правила правописания вводят логическую пунктуацию. Таким образом, усвоена точка зрения А. Белича. Правила Д. Боранича предписывали грамматическую пунктуацию.

XIII. Введено единообразие в написании сокращений: *доктор* — *др.*; *госпођа* — *гђа*; *то јесте* — *тј.*; и тако даље — *итд.*; *на пример* — *нпр.* и т. п.

XIV. По новым правилам после порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами, ставится точка. Например: *на стр. 273. у б. ретку пише*. Точка не ставится, если числительное обозначено римскими цифрами: *Идат је у XV књизи Старих писаца*. Здесь нет ничего нового для тех, кто привык к нормам загребского правописания. У А. Белича такого правила не было.

XV. Новое правописание значительно упрощает правила переноса слов, положив в их основу соображения чисто практические. Слово может быть разделено на столько частей, сколько в нем гласных. При переносе можно оставлять в строке одну гласную (*о-тау*). Если между двумя гласными окажется две или несколько согласных, то на следующую строку переносятся согласные, которые вместе с последующей гласной образуют сочетания, легкие для произношения (*се-дло* = *сед-ло*; *се-стра* = *сес-тра* = *сест-ра*). При переносе нельзя разбивать односложную приставку или отрывать одну букву от значащей части слова, если эта буква обозначает согласный звук.

XVI. Существенные различия между белградскими и загребскими нормами были в правилах написания иностранных собственных имен. По А. Беличу, они должны писаться так, как произносятся: *Шекспир, Иго, Бордо*. По Д. Бораничу, их следует писать так, как пишутся они в языке, из которого заимствованы: *Shakespeare, Hugo, Bordeaux*.

Новые правила признают равноправными оба способа. Особо оговаривается, что в случае употребления малоизвестного имени первый раз в тексте необходимо передавать его обоими способами, помещая одно из написаний в скобках.

XVII. В конце правил приводится орфографическая терминология. В абсолютном большинстве случаев (за исключением двух-трех) вместо употреблявшихся до сих пор нескольких терминов избран один.

К правилам прилагается орфографический словарь. Новый словарь включает лексические дублеты, признавая их тем самым литературными и равноправными: *савремен* = *суремен*, *југословен* = *југославен*, *срећан* = *сретан*, *позориште* = *казалиште*, *јануар* = *сијечањ*, *хиљада* = *тисућа*, *воз* = *влак*, *универзитет* = *свеучилиште* и т. д.

Таковы нововведения правил правописания 1960 г. Как и прежде, эти правила не являются орфографическими в собственном смысле этого слова, так как содержат много элементов, имеющих большее отношение к орфоэпии и грамматике, чем к правописанию. Так, в ряде случаев устанавливаются нормы произношения слов; иногда дается даже описание положения органов речи при артикуляции отдельных звуков, например, *ч, ц, ђ, ћ*; больше к грамматике, чем к орфографии, относятся разделы об исторических чередованиях и т. п.

В ряде случаев при определении норм правописания новые правила больше учитывают произношение, чем старые. Так, по новым правилам звонкие согласные, появившиеся в слове в результате уподобления глухого следующему за ним звонкому согласному, при изменении слова сохраняются и в тех случаях, когда нет условий ассимиляции: *примедба* (< *приметба*) — *примедаба* (а не *приметаба*), *сведодба* (< *сведочба*) — *сведодбаба* (а не *сведочаба*).

Увеличилось число случаев, когда допускается написание *л* в конце слова, *в* или *ј* вместо *х*; возросло число дублетов, в которых в екавском варианте возможна двоякая замена приставки *пре* (< *прѣ*).

Однако, как и раньше, есть отступления от фонетического принципа правописания: в случаях написания *д* перед *с* и *ш*, при написании удвоенных согласных в словах, где замена их одним согласным привела бы к изменению значения слова (*наддруштвени*, *нуззарада*, *под-*

дијалекат, шестсто, шестстогодишњи и т. д.), и в случаях традиционного написания некоторых иностранных собственных имен (*Ленин, на Љермонтов*).

Новый свод правил является результатом коллективного труда. Он создан не только членами комиссии, но также и принимавшими участие в обсуждении проекта писателями, переводчиками, учителями, журналистами и т. д., ряд замечаний и предложений которых был учтен при выработке окончательного текста правил. Это первый в истории свод правил орфографии и пунктуации, которым пользуются на всей территории распространения сербохорватского языка. Теперь уже нет белградского или загребского правописания, есть только одно сербохорватское правописание, общее для всех. Однако оно еще далеко от совершенства в том смысле, что не дает единых, т. е. обязательных для всех, норм написания во всех случаях. Устранить все расхождения между белградской и загребской нормами и установить единое написание не удалось. Во многих случаях, уже отмеченных нами, единое решение найдено. Но остались и такие случаи, где правила предлагают двойное (а иногда и тройное) решение. Смешивать в пределах одного текста различные варианты написания одного слова или одной формы нельзя.

Такая пестрота, обилие дублетов, конечно, не может считаться достоинством правил орфографии. Орфографический разнобой, как известно, усложняет практическое применение правил, не укрепляет, а расшатывает систему правописания. Ясно, что долгое время каждый из двойных (или тройных) вариантов, зарегистрированных правилами, будет употребляться в литературном языке в тех областях, где он живет в языке разговорном. И тем не менее, вполне очевидно, что новые правила знаменуют собою значительный прогресс в решении проблем сербохорватского правописания.

Авторы новых правил при решении спорных вопросов исходили из общенациональных интересов, они стремились предельно упростить правописание и в то же время избежать введения норм, принятых в одном культурном центре в ущерб нормам другого культурного центра. Обе стороны часто шли на взаимные уступки, стремясь в то же время к тому, чтобы в новом правописании не преобладали ни белградские, ни загребские нормы.

Такой принцип решения спорных вопросов правописания на современном этапе развития сербохорватского языка понятен и оправдан. Своеобразные исторические условия, в которых долгое время жили сербы, хорваты и черногорцы, привели к тому, что проблема правописания очень тесно переплелась с целым рядом других проблем. За каждым расхождением в лексике или в написании слов стоят многолетние политические, национальные, культурные, а подчас и религиозные традиции. Латиница и кириллица, экавщина и екавщина, лексические и многие орфографические дублеты давно уже перешагнули границы Сербии и Хорватии и употребляются (разумеется, в разной степени) в обеих республиках. Тем не менее часто еще латиница, экавщина, определенная лексика и определенные орфографические нормы противопоставлялись кириллице, экавщине и т. д. как исключительно хорватские сербским, и наоборот. Наличие расхождений оказалось меньшим злом по сравнению с тем, что многие из этих расхождений приобрели национальную окраску, так сказать, национальную метку, и попытка устранить двойственность путем признания одного варианта и отказа от другого воспринималась чуть ли не как покушение на национальную самостоятельность.

Ясно, что в таких сложных условиях полностью устранить двойственность было невозможно. Новые правила в ряде случаев обеспечивают равноправное существование обеих норм. Обеим нормам будут обучаться ученики в школах, студенты в вузах. Писатель, ученый, журналист будет избирать тот вариант, который ему покажется наиболее целесообразным. Развитие культуры будет способствовать дальнейшему распространению и закреплению тех или иных вариантов. Будут созданы новые традиции. Время и воспитание снимут с различных вариантов национальную метку. Тогда можно будет приступить к дальнейшему упорядочению и регламентированию существующих правил. Правила орфографии и пунктуации 1960 г. — переходный, но необходимый этап в большой и сложной работе по созданию действительно единых норм сербохорватского правописания.

Р. П. У с и к о в а

**«UN LEXIQUE MACÉDONIEN DU XVI SIÈCLE»
PAR CIRO GIANNELLI AVEC LA COLLABORATION
DE ANDRÉ VAILLANT
Paris, Institut d'Études slaves de l'Université de Paris,
1958, 71 стр.**

До нашего времени сохранилось не очень много памятников, отражающих историю развития македонских диалектов. Поэтому опубликованный в Париже в 1958 г. памятник юго-западного македонского диалекта — Словарь XVI века — представляет большой научный интерес, так как он был создан значительно раньше четырехязычного словаря Даниила Москополиса (1764).

Словарь фиксирует примерно 300 славянских слов, несколько фраз анкетного типа, три куплета одной песни и один куплет другой песни. Славянские слова написаны на полях и между строк греческого текста. Графика всех славянских слов — греческая.

Во введении к Словарю, написанном профессором Римского университета Чиро Джаннелли, который открыл эту рукопись в 1940 г. в библиотеке Ватикана, характеризуется внешний вид памятника и сообщаются сведения из истории его создания. Ч. Джаннелли установил, что Словарь создан в XVI в. Он обратил внимание на то, что в Словаре упоминается географическое название *Богаско*. Это название села, которое, как указывает Джаннелли, существует и сейчас: оно находится в долине реки Вистрица в 15 км от Кастории, Костурско.

Лингвистический комментарий к Словарю написал известный французский славист Андрэ Вайан. Автор комментария так определяет значение языка Словаря: «Этот македонский язык XVI века очень похож на современный македонский: специфические болгаро-македонские черты выделяются с конца старославянского периода, они зафиксированы уже большей частью в XIV веке... Но Словарь сохраняет определенное число старых черт и помогает уточнить эволюцию македонского языка и его диалектов» (стр. 45).

А. Вайан доказывает, что автором Словаря был, вероятно, не славянин, а грек, а информатором его был славянин. В языке Словаря, в частности в песнях, встречаются сербские формы, напр. *kukja*, а не *kŕšča*, как в современном костурском говоре. Но морфологические элементы Словаря относятся исключительно к юго-западным македонским говорам, в частности к говорам территории между Касторией и Бо-бошницей в Албании.

Для сравнения языка Словаря с другими македонскими говорами Вайан использует материалы исследований Мазона, Малэцкого, Белича и делает вывод о большом сходстве говора Словаря с говорами Бо-

бошчицы: «Язык Словаря в основном — старый бобошчинский, хотя и отличается от бобошчинского некоторыми важными фонетическими чертами» (стр. 46).

А. Вайан отмечает следующие важнейшие фонетические черты языка Словаря:

1. Вокализм: $\text{ъ} > o$; $\text{ь} > e$; вторичные еры в *ogan*, *odor*, *vjater*; наличие слоговых *r* и *l*; рефлексy носовых: $\text{ę} > e$, $\text{ǫ} > a$ в середине и в конце слова (*rakav* — *rakavi*, однако *ranka* < *rǫka*); редукция безударных *o* и *e* встречается лишь как исключение; чередование *ja:e* на месте ě свидетельствует о древней общности болгаро-македонского, но в македонском изменения системы ударения привели к нарушению этого чередования (стр. 52).

2. Консонантизм: сохранение *ch* во всех позициях; сохранение интервокального *v*; сохранение *dz* во множ. числе *nodzja*; $*tj$, $*dj > \check{s}(t)$, $\check{z}d$; $\check{c}r > \check{c}er$; $\check{s}c$, $\check{s}\check{c}$, $\check{s}\check{c} > chc$, $ch\check{c}$; отвердение старых мягких согласных (например, в *lubam*, *klučēt*, *košjula*, *molam*, *kon*), но сохранение мягкости *n* в суффиксе отглагольного существительного *nje* < *nije* и мягкости шипящих, как и сейчас в части южных македонских говоров.

По характеру ударения — почти всегда на предпоследнем слоге — говор Словаря XVI века не отличается от южных македонских говоров, в частности от костурского.

В области морфологии А. Вайан отмечает следующие черты. У существительных мужского рода окончание мн. ч. *-i*, *-ovi*, вокатив на *-e*, встречается форма род. пад. мн. ч. г. *dvana(v)deset florin* и форма косв. пад. ед. ч. *Boga*, *brata*, артикль *-ot*, *-et* после мягких (шипящих), форму артикля *-o* автор, как предполагает Вайан, спутал с конечным *o* существительных среднего рода (фраза *imate chljab-o*, где артикль не нужен вообще). У существительных женского рода вокатив на *-o*, *-je*, мн. ч. с окончанием *-i*, кроме *nōdzja*, *rāncja*, артикль *-ta*, встречаются формы локатива *na Sfetnici*, *na Vodici*. Существительные среднего рода имеют во мн. ч. *-a*, *-išta*. Собираательные существительные образованы с суффиксом *-je*.

Личные местоимения имеют полные и краткие формы, различие между дательным и винительным не ясно, употребляется двойное местоимение.

Глаголы Вайан делит по основам настоящего времени на три класса, которые различаются тематическими гласными, но имеют одинаковые флексии настоящего времени: 1-е л. ед. ч. *-m*, 3-е л. ед. ч. — отсутствие конечного *-t*, 1-е л. мн. ч. — окончание *-me*, 3-е л. мн. ч. — *-et*. Глаголы на *-ovati* ($u\check{e} > ova\check{e}$) имеют суффикс *-va*. В аористе интересна флексия 3-го л. мн. ч. *-he* — новообразование, характерное для западных македонских говоров.

К сожалению, автору комментария почти ничего не удалось сказать об употреблении форм, так как в Словаре очень мало фраз. Ограниченный материал позволяет Вайану лишь отметить обычные употребления предлогов, место энклитик (нормально после ударного слова), типичное для македонских говоров исчезновение частицы *li* в вопросительном предложении.

Г. И. Сафонов

НА КАФЕДРЕ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

За последние десять лет слависты кафедры славянской филологии Ленинградского университета выпустили в свет свыше ста работ по славянскому языкознанию и литературоведению. Особенно усилилась эта работа после IV съезда славистов (Москва, 1958).

В числе работ последних лет следует назвать ряд известных статей Ю. С. Маслова: «Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление)» («Вопросы грамматики болгарского литературного языка». Изд-во АН СССР. М., 1959); «О некоторых расхождениях в понимании термина „морфема“» (сб. «Проблемы языкознания». — «Ученые записки Ленинградского университета», № 301, Л., 1961); «Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида» (сб. «Исследования по славянскому языкознанию». М., 1961); «Zur Entstehungsgeschichte des slavischen Verbalaspekts» («Zeitschrift für Slavistik», Bd. IV, Heft 4, Berlin, 1959). Вскоре после съезда вышел сборник «Славянское языкознание» («Ученые записки Ленинградского университета», № 250, серия филологических наук, вып. 44, Л., 1958), составленный из работ ученых факультета старшего и младшего поколений. В этом сборнике опубликованы статьи Э. А. Якубинской-Лемберг «Проблема образования форм среднего рода в славянских языках», В. С. Золотовой «Имена существительные с суффиксом -ak в современном польском языке», Г. А. Лилич «К вопросу о лексических заимствованиях из русского языка в чешский», П. А. Дмитриева «Особенности построения сложного предложения с определительным придаточным в сербохорватском языке», Е. А. Захаревич «Некоторые особенности временных сложноподчиненных предложений в современном болгарском языке», Е. С. Андреевой «Стилистическое использование русской лексики и фразеологии в произведениях чешских писателей о СССР», Э. М. Дурьиной «Формы будущего времени в Котленском дамаскине» и др.

В упомянутом уже сборнике «Проблемы языкознания» («Ученые записки Ленинградского университета», № 301), посвященном акад. И. И. Мещанинову, опубликована работа П. А. Дмитриева «Притяжательные прилагательные сербохорватского языка (к вопросу об их месте в системе частей речи)», им же написана статья «О вкладе русских ученых в изучение сербохорватской диалектологии» («Вестник Ленинградского университета», № 2, серия истории, языка и литературы, вып. 1, Л., 1960). В книге «Вопросы грамматики болгарского литературного языка» (М., 1959) опубликована работа Е. А. Захаревич «Производные основы со значением лица в современном болгарском литературном языке».

В настоящее время под редакцией заведующего кафедрой проф. Б. А. Ларина готовится к печати второй выпуск лингвистического сборника «Славянское языкознание». В печать сданы статьи Я. В. Матюсович «Склонение имен существительных в польском языке»; Е. С. Андреевой «Безличные предложения в чешском языке»; В. С. Золотовой «Производные имена существительные со значением лица в современном польском языке»; Г. В. Крыловой «Наблюдения над переходным и непереходным употреблением глаголов в современном болгарском языке»; З. Т. Леонович «Употребление глаголов с частицей *-si* в чешском языке» и др. И. В. Арбузова подготовила к печати переписку И. В. Ягича с русскими учеными.

Не менее интенсивно работают и литературоведы. Внимание литературоведов-славистов Ленинградского университета сосредоточено прежде всего на решении актуальных проблем истории славянских литератур, поставленных IV Международным съездом славистов. За последнее время изданы такие работы, как «Ян Кохановский и его литературная деятельность» В. Б. Оболевича (Приложение к кн.: Ян Кохановский. Избранные произведения. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1960. Издание подготовил С. С. Советов); сборник «Славянские литературы» (Л., 1958),

в котором опубликованы статьи В. Б. Оболевича «„Мужики“ Реймонта как социально-бытовой роман из крестьянской жизни», П. Е. Глинкина «Повесть Нарцисы Жмиховской „Язычица“ (1846)», Д. Н. Аврова «Проблема положительного героя в современной польской драматургии (1945—1954)» и Ю. Л. Булаховской «Рост реалистических тенденций в творчестве Э. Ожешко конца 60-х—середины 80-х годов XIX века». Вопросам сербохорватской литературы посвящены работы В. К. Зайцева: «Эпическая поэма Гундулича „Осман“ в хорватской и сербской литературе» («Вестник ЛГУ», № 20, 1960), «Комедии Косты Трифковича» («Вестник ЛГУ», № 14, 1958), «Творчество Петра Кочича и революционный подъем на Балканах в начале XX века» (сб. «Славянские литературы») и статья Г. И. Сафронова «Политическая сатира Радое Домановича» (там же). О творчестве Марии Пуймановой вышло две статьи И. М. Порочкиной: «Поэзия Марии Пуймановой» («Вестник ЛГУ», № 14, 1958) и «Некоторые художественные особенности трилогии М. Пуймановой» (сб. «Славянские литературы»). Большой интерес вызвала проблема культурных и литературных взаимосвязей. Этой проблеме посвящены две статьи О. М. Малевича (в соавторстве с З. Г. Минцем): «К. Чапек и А. Н. Толстой» («Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 65, труды по русской и славянской филологии, I, Тарту 1958) и «А. Н. Толстой в Чехословакии в 1935 г.» (там же); его же статья «Znalosti ruskiej predrevolučnej spoločnosti a živote a činnosti L'udovíta Štúra» (сб. «Z dejín československo-slovanských vzťahov Slované štúdie». Bratislava, 1959). Вопросу истории русско-дубровникских связей посвятил свою статью «Гундулич в России» В. К. Зайцев (сб. «Славянские литературы»). История русско-югославских литературных связей разрабатывается в статье Г. И. Сафронова «Традиции русской сатирической литературы в творчестве Радое Домановича» («Вестник ЛГУ», № 14, 1958) и в статьях П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова «А. М. Горький в Югославии» (сб. «Славянские литературы») и «Л. Толстой — член Сербской Академии Наук» («Русская литература», № Л., 1960).

К V съезду славистов литературоведы кафедры готовят два тематических сборника — «Славянские литературы», вып. 2 и «Славянские литературные взаимосвязи», — которые осветят вопросы изучения за-

мерностей становления и развития критического и социалистического реализма в славянских литературах XIX—XX вв. и литературно-культурных взаимосвязей западных, южных и восточных славян. В эти сборники войдут такие работы, как «Письма в Россию прогрессивных славянских деятелей 60-х годов XIX века» [К. А. Копержинского], «Эденек

Неедлы и русская литература» и «К. Я. Эрбен и его связи с Россией» И. М. Порочкиной, «Цесарец и Достоевский» П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова, «Ярослав Домбровский в России» П. Е. Гликина, «П. П. Славейков и Россия» В. Д. Андреева и др.

Кроме того, к съезду славистов планируется издание монографий В. Б. Оболевича «Крестьянская проблематика в творчестве Реймонта»; И. М. Порочкиной «Творчество Марии Пуймановой», В. К. Зайцева «Поэма Ивана Гундулича „Осман“».

Много внимания уделяется на кафедре созданию учебников и учебных пособий. Т. П. Гордова-Рыбальченко и Е. И. Безикович заканчивают работу над подготовкой второго издания «Учебника болгарского языка». Издано пособие для студентов вечернего и заочного отделений по сербохорватскому языку (П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов. Сербохорватский язык. Л., 1961). Скоро в Издательстве Ленинградского университета выйдет другое учебное пособие этих же авторов: «Новые правила правописания сербохорватского языка». Готовится к изданию учебник сербохорватского языка для студентов дневного отделения (авторы И. В. Арбузова, П. А. Дмитриев, Н. И. Сокаль). В стадии завершения находится «Грамматика польского языка» Я. В. Мацюсович. Недавно вышла в свет «История польской литературы» В. Б. Оболевича.

Одной из форм научной деятельности кафедры славянской филологии является участие в теоретических конференциях. Так, в июне 1961 г. в теоретической конференции по теории и критике художественного перевода, состоявшейся в Ленинградском университете, сотрудники кафедры сделали доклады — «Некоторые вопросы перевода на русский язык болгарской художественной литературы» (В. Д. Андреев), «Передача славянских имен при переводах» (П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов) (см. «Конференция по теории и критике художественного перевода. 1—6 июня 1961. Тезисы докладов», Л., 1961). На IV Межвузовской республиканской славистической конференции в Одессе в сентябре 1961 г. с докладами выступили Г. А. Лилич на тему «К вопросу о взаимодействии чешского и русского литературных языков» и П. А. Дмитриев — на тему «Основные этапы становления национального сербохорватского языка» (см. «Тези доповідей IV Міжвузівської республіканської славистичної конференції 12—14 жовтня 1961 року», Одеса, 1961).

В декабре 1962 г. в Ленинградском университете в соответствии с решением Координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения состоялась всесоюзная конференция по славянской филологии, в которой сотрудники кафедры также приняли активное участие.

В. И. Масальский

О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

После IV международного съезда славистов (Москва, 1958) кафедра славянской филологии Киевского государственного ордена Ленина университета им. Т. Г. Шевченко исследовала ряд актуальных вопросов славяноведения. Члены кафедры работали над рядом проблем, решение которых имеет большое научное и методическое значение.

В области славянского языкознания сотрудники кафедры занимаются разработкой следующих вопросов.

А. П. Непокупный работает над проблемой современных балто-славянских языковых отношений. Он исследует особенности (преимущественно синтаксические) одного из русских говоров в литовском окружении, представляющие прямое заимствование из литовского языка или результат параллельного развития соответствующих конструкций в говорах балтийских и славянских языков. Результаты его исследования должны быть опубликованы к предстоящему V Международному съезду славистов, который состоится в 1963 г. в Софии.

Из работ по синтаксису славянских языков отметим подготавливаемую к печати монографию «Определение в украинском языке» В. В. Моренец, в которой автор касается вопроса об определении и в других славянских языках.

Э. А. Грабарь закончила работу о лексике произведений Ю. Фучика.

Преподаватели кафедры славянской филологии занимаются и стилистикой славянских языков. В частности, В. И. Масальский в настоящее время работает над темой «Спорные вопросы стилистики художественных произведений в трудах славистов».

П. П. Плющ (кафедра украинского языка) на IV Межвузовской республиканской славистической конференции, проходившей 12—14 октября 1961 г. в Одессе, сделал доклад на тему: «„Начала священного языка словянъ“ Вячеслава Ганки. К 100-летию со дня смерти В. Ганки» (см. тезисы этого доклада в кн. «Тези доповідей IV Міжвузівської республіканської славистичної конференції 12—14 жовтня 1961 року», Одеса, 1961, стр. 63—64).

Украинскому языку в трудах выдающихся славистов много внимания уделяет П. Д. Тимошенко (кафедра украинского языка). См. его статьи: «Ян Бодуен де Куртене і українська мова» («Українська мова в школі», № 1, 1960), «Ю. Карський і українська мова» (там же, № 3, 1961), «П. Шафарик і Україна» (в печати). В настоящее время П. Д. Тимошенко работает над вопросами украинского языка в трудах Ф. Миклошича и И. В. Ягича.

В 1960 г. кафедре славянской филологии была представлена на обсуждение и успешно защищена на заседании Ученого совета филологического факультета КГУ кандидатская диссертация «Выражение

сказуемого в современном словацком языке» М. В. Симулика (Ужгородский университет). Диссертация выполнена на материале памятников словацкого языка XV—XVI вв., произведений писателей-классиков XIX в., современных писателей, периодической печати, технической литературы, фольклора, современных словацких говоров.

Много внимания было уделено вопросам художественного перевода. Здесь прежде всего следует указать на монографию В. В. Контилова «Очерки истории украинского поэтического перевода. Дookтябрьский период (вопросы стиля)», выполненную в течение 1959—1961 гг. В работе анализируются украинские переводы со славянских языков, преимущественно русского, польского, сербского. Отдельные части этого исследования уже опубликованы. См. «Зауважання про мову та стиль перекладів Л. Боровиковського» («Дослідження з літературознавства та мовознавства», I, Изд-во КГУ, 1960), «Мова перекладів М. П. Старицького з М. Ю. Лермонтова і М. О. Некрасова» («Збірник наукових праць аспірантів з філології», Изд-во КГУ, 1961). В статье В. В. Контилова «Межъязыковые омонимы и художественный перевод» («Вісник Київського університету», в печати) делается попытка классификации межъязыковых омонимов в славянских языках. В докладе «Трансформация художественного образа в поэтическом переводе», прочитанном на конференции по теории и критике художественного перевода (Ленинград, июнь 1961 г.), В. В. Контилов дал анализ типичных случаев видоизменения образов оригинала в переводах.

В. И. Масальский исследует переводы произведений М. М. Коцюбинского на русский и другие славянские языки. Результаты этого исследования будут освещены в его монографии «Язык и стиль произведений М. М. Коцюбинского в свете проблем исторической стилистики украинского литературного языка второй половины XIX—начала XX вв.», которая должна выйти из печати в 1963 г. Интересный анализ современных польских переводов стихов Т. Г. Шевченко представила К. И. Криворучко в докладе «Т. Г. Шевченко в сучасних польських перекладах» (см. «Т. Г. Шевченко і слов'янські народи. Тези доповідей Міжвузівської наукової шевченківської сесії 16—21 травня 1961 року», Київ, 1961).

В области литературоведения члены кафедры славянской филологии разрабатывали следующие вопросы.

С. И. Левинская продолжала исследование польского романтизма. Она работает над монографией «Жизнь и творчество Ю. Словацкого», отдельные разделы которой уже закончены. Ее статья «О некоторых вопросах драматургии Юлиуша Словацкого» опубликована в 1958 г. в кн. «Збірник славістичних праць філологічного факультету», изд-во КГУ, 1958. Ею же составлены комментарии к двухтомному изданию произведений Ю. Словацкого на украинском языке. С. И. Левинская занимается также изучением современной польской литературы. Уже опубликован ее литературно-критический очерк «Ежи Путрамент» (сб. «Літературні портрети сучасних польських письменників», Київ, 1960) и послесловие «Войцех Жукровский и его „Дни поражения“» в кн. В. Жукровский. Дні поразки. Київ, 1960.

Вопросы становления метода социалистического реализма в чешской литературе освещаются в опубликованной кандидатской диссертации А. Н. Маляренко «Иржи Волькер — пламенный певец пролетариата» (Харьков, 1960). В этой работе характеризуется творческий путь выдающегося чешского поэта-коммуниста, особенности его художественного метода и поэтического мастерства, идейно-тематическая направленность его произведений, проникнутых верой в победу чешского рабочего класса.

Особого упоминания заслуживают работы по проблеме «Т. Г. Шев-

ченко и славянские народы», которой была посвящена межвузовская научная сессия весной 1961 г. (см. «Т. Г. Шевченко і слов'янські народи. Тези доповідей Міжвузівської наукової шевченківської сесії 16—21 травня 1961 року», Київ, 1961). На этой сессии были прочитаны, в частности, такие доклады: «Литературы славянских народов в оценке Т. Г. Шевченко» (М. П. Камышанченко), «Т. Г. Шевченко и Чехословакия» (А. Н. Маляренко), «Тарас Шевченко и Август Харамбач (из истории украинско-хорватских литературных связей)» (М. П. Базилевский), «Тарас Шевченко в оценке польского критика Гвиды Баттаглия» (В. Я. Неделько).

Из работ, связанных с проведением юбилейных и научных сессий, следует отметить также статью «Славистические интересы М. В. Ломоносова» С. И. Левинской.

Кроме упомянутых работ, посвященных межславянским литературным связям, надо указать и на две темы, над которыми работает теперь чл.-корр. АН УССР П. Н. Попов: «Предшественники первопечатника И. Федорова в славянском книгопечатании» и «И. Галатовский — представитель украинско-польских связей XVII в.». Разработкой темы «И. Галатовский в истории украинско-руско-белорусско-польских литературных связей во второй половине XVII века» занимается также Ф. Я. Шолом (кафедра истории украинской литературы).

Вопрос о славянских литературах в украинском литературоведении изучает М. П. Камышанченко (кафедра истории украинской литературы).

Важной частью научно-педагогической деятельности кафедры является создание учебных пособий по славянским языкам и работа над вопросами методики преподавания славянских языков. М. В. Сосновская готовит к печати учебник по польскому языку, а В. В. Волейник — учебник по чешскому языку для студентов филологических факультетов университетов Украинской ССР. В отличие от многих изданных ранее пособий, по польскому и чешскому языкам, построенных концентрически, создаваемые М. В. Сосновской и В. В. Волейником учебники будут содержать систематическое изложение фонетики и грамматики, а также необходимое количество упражнений для практических занятий. Кафедра приступает к учебной проверке уже написанных частей учебников.

Э. А. Грабарь написала учебное пособие «Чеська мова» для студентов-украинистов.

В подготовленной В. И. Масальским для печати монографии «Очерки по истории развития методики преподавания украинского и русского языков в общеобразовательных начальных и средних школах Украинской ССР» значительное внимание уделяется вопросам методики преподавания славянских языков. Небольшая часть этого исследования опубликована в виде статьи в журнале «Українська мова в школі» (№ 1, 1962).

Заканчивается работа по составлению библиографического указателя по вопросам общего и славянского языкознания за 1950—1960 гг., в которой, наряду с сотрудниками кафедры русского языка А. М. Барзилович, Т. П. Малиной, Н. А. Семеновым, Е. А. Сиротиной, Л. Г. Скалозуб, Н. П. Яковенко, от кафедры славянской филологии принимает участие В. И. Масальский.

Плодотворно развиваются научные контакты кафедры с учеными стран народной демократии. В работе курсов для славистов, проходивших в Польской Народной Республике в 1961 г., приняли участие А. П. Непокупный и С. И. Левинская. А. П. Непокупный участвовал также и в работе диалектологической экспедиции, организованной Академией наук Польской Народной Республики.

На филологическом факультете КГУ проходили научную подготовку Я. Моравец (Чехословацкая социалистическая республика), написавший под руководством акад. Л. А. Булаховского кандидатскую диссертацию «Украинские говоры в Чехословакии», и М. Я. Лесюв (Польская Народная Республика), закончивший под руководством П. Д. Тимошенко кандидатскую диссертацию «Язык западноукраинской драматической литературы XVII—XVIII вв.». С целью повышения славистической подготовки студентов на филологическом факультете был расширен круг лекционных курсов по славяноведческим предметам. С 1960—1961 учебного года возобновлено чтение курса сравнительной грамматики славянских языков для студентов IV и V курсов отделений русского и украинского языков (А. П. Непокупный). Студенты этих же отделений изучают также введение в славянскую филологию, старославянский, польский и чешский языки. Введено факультативное изучение польского и чешского языков также на историко-философском и юридическом факультетах, на факультете журналистики.

В течение 1959—1961 гг. языковеды кафедры подготовили следующие спецкурсы: «Вопросы балто-славянских языковых отношений» (А. П. Непокупный), «Вопросы русского и других славянских языков в трудах отечественных и зарубежных славистов» (В. И. Масальский), «Лексика произведений Ю. Фучика» (Э. А. Грабарь), «Теория литературного перевода на чешский язык» (В. В. Волейник), «Вопросы методики преподавания славянских языков» (В. И. Масальский) и др.

Для чтения курса лекций по истории болгарской литературы приглашена ст. научн. сотр. Института литературы АН УССР Е. В. Шпилевая. Студенты отделений украинского и русского языка и литературы слушают теперь лекции по истории польской и чешской литератур. Литературоведами кафедры были подготовлены такие спецкурсы как «Адам Мицкевич и прогрессивный польский романтизм», «Адам Мицкевич в украинской литературе», «Русско-украинско-польские литературные связи» (С. И. Левинская), «Антирелигиозные мотивы в литературах стран народной демократии», «Чешско-русско-украинские литературные связи» (Э. А. Грабарь).

Уже второй год на филологическом факультете успешно работает студенческий научный кружок по изучению болгарского языка.

Выпускники филологического факультета защитили ряд дипломных работ на славистические темы: «Языковые особенности произведения Ю. Фучика „Reportáž psaná na oprátce“» (О. Д. Копица); «Т. Г. Шевченко в современных польских переводах» (К. И. Криворучко), «Переводы повести „Promień“ С. Жеромского на украинский язык» (Ф. Ю. Мороз), «Ю. Фучик — борец за правду о Советском Союзе» (Г. П. Дунда), «Ст. К. Нейман о Закарпатье» (Г. Н. Срутинская), «Пути и образы чехословацкой интеллигенции по роману-трилогии М. Пуймановой — „Люди на перепутье“, „Игра с огнем“, „Жизнь против смерти“» (А. И. Плахова-Модестова), «Революционная поэзия В. Броневского 1925—1933 гг.» (В. Е. Горбенко), «Ив. Франко о польских писателях второй половины XIX—начала XX вв.» (Т. Ю. Ксенз), «Петр Безруч» (В. К. Житник), «Украинско-чешские литературные связи конца XVIII—начала XIX вв.» (В. И. Ерпулева) и др. Работы К. И. Криворучко, Т. Ю. Ксенз, Ф. Ю. Мороза, Г. П. Дунды, В. К. Житника, О. Д. Копицы были рекомендованы к печати.

М. О. Онышкевич

НАУЧНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ЛЬВОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научно-исследовательская работа на кафедре славянской филологии Львовского государственного ордена Ленина университета им. Ив. Франко ведется в области сравнительной грамматики славянских языков; чешского и польского языков; славянской, в частности западноукраинской, диалектологии; чешской, польской и сербо-лужицкой литератур. За время, прошедшее после IV Международного съезда славистов (Москва, 1958 г.), сотрудники кафедры закончили ряд исследований, многие из которых уже опубликованы.

По сравнительной грамматике славянских языков были выполнены следующие работы: К. К. Трофимович. Практикум з порівняльної граматики слов'янських мов. Львів, 1960 — учебное пособие, необходимое и актуальное в методическом отношении; статья М. О. Онышкевича „Словацко-українські мовні зв'язки“ (в печати) и его же „Бойківське лбни“ („Питання слов'янської філології“, вип. 1, Львів, 1960) — этимологическая заметка о происхождении этого архаического слова; заметка Н. А. Пушкаря „Наскільки загальні тенденції розвитку граматичної будови сучасної української мови збігаються чи не збігаються з тенденціями інших слов'янських мов і яких саме?“ („Філологічний збірник“, Київ, 1958).

В области проблематики чешского языка разрабатывались главным образом вопросы чешской лексики и словообразования. По этим вопросам членами кафедры опубликованы следующие работы: „Розвиток чеської лексики“ Н. А. Пушкаря („Вопросы славянского языкознания“, кн. 5, Львов, 1958); его же „Вплив російської мови на збагачення чеської лексики після Жовтневої революції 1917 р. та після лютневих подій 1948 р. в Чехословаччині“ („Питання слов'янської філології“, вип. 1); кандидатская диссертация К. К. Трофимовича „Сложные слова в чешском языке до белогорского периода“; его же „Сполучні морфеми в складних словах чеської мови XIII — початку XVII вв.“ („Питання слов'янської філології“, вип. 1) и „Творення складних слів у чеській мові“ („Збірник праць аспірантів ЛДУ“, Львів, 1960); „Чеські рукописні словники XIV століття“ А. К. Ластовецкой („Вопросы славянского языкознания“, кн. 5); автореферат ее кандидатской диссертации „К истории чешской лексикографии по XIV столетие включительно“ (Львов, 1958); ее же „Іншомовні слова в чеському рукописному словнику „Богемарій““ („Питання слов'янської філології“, вип. 1); „Спостереження над абстрактною лексикою та її словотворенням на основі чеських письмових пам'яток XIII ст.“ В. П. Андела (там же); его же „Словообразование существительных с суффиксами -ota, -ina в чешском языке“ (в печати).

В области польского языка исследовались отдельные вопросы фонетики и лексики. По этой тематике М. О. Онышкевичем написаны статьи „Збіг проривних і щілинних приголосних у польській мові“ („Вопросы славянского языкознания“, кн. 5), „Стечение смычный + плавный в польском языке“ (в печати) и „Лексика современного польского литературного языка“.

Кафедра ведет работу и в области западноукраинской диалектологии. Так, М. О. Онышкевич продолжает составление словаря бойковского диалекта (с учетом словацко-украинских, румынско-украинских и украинско-южнославянских лексических связей). Им же написаны статьи „Диалектизмы и их комментирование в ранних произведениях И. Франко“ (в печати) и „Принципи складення Словника бойківського діалекту“ („Питання слов'янської філології“, вип. 1). А. К. Ластовецкая сдала в печать статью „Из наблюдений над лексикой села Битля (Турковского р-на, Львовской обл.)“ — о бойковско-словацких лексических параллелях.

В области польской и чешской литератур разрабатывались главным образом вопросы творчества отдельных писателей и вопросы чешско-украинских и польско-украинских литературных связей XIX и XX вв. Из работ, посвященных этому кругу вопросов, надо отметить статьи И. И. Грики „Українське село в селянському циклі повістей І. Крашевського“ („Питання слов'янської філології“, [вип. 1] и «Болеслав Червенский — автор „Червоного штандара“» (в печати); ее же кандидатскую диссертацию „Драматургия Л. Крutchковского“; ряд статей В. А. Моторного: „Т. Сватоплук“ (Сб. „Слов'янське літературне єднання“, Львів, 1958), „Твори Т. Сватоплука про Ботострой в оцінці нової чехословацької критики“ („Доповіді та повідомлення“, Львівський держ. ун-т, вип. 8, ч. 1, Львів, 1960), „Геза Вчелічка — письменник чеського робітничого класу“ („Питання слов'янської філології“, вип. 1) и др. работы.

Кроме того, членами кафедры написан и опубликован, главным образом, в областной и республиканской печати, а также в странах народной демократии, ряд научно-популярных статей, рецензий, заметок и т. д. о А. Мицкевиче, М. Конопницкой, Г. Вчелічке, К. Чапеке, И. Ольбрахте, Я. Неруде, К. Г. Махе, Х. Ботева, Н. Ванцарове, Б. Цишинском, М. Новаке-Нехорнском и др.

Активное участие члены кафедры принимают в республиканских и всесоюзных славистических и других научных совещаниях и конференциях. Например, в работе II Славистической конференции (Львов) принимали участие Н. А. Пушкар, М. О. Онышкевич; III Республиканской славистической конференции (Харьков) — И. И. Грика; Всесоюзного координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения (Москва, 1961 г.) — М. О. Онышкевич, В. А. Моторный; Координационного совещания по вопросам лексикологии и лексикографии (Ленинград) — М. О. Онышкевич; конференции по вопросам славяно-германских языковых связей (Минск) — К. К. Трофимович; Республиканского диалектологического совещания (Киев) — М. О. Онышкевич и др.

Члены кафедры (А. К. Ластовецкая, И. И. Грика, К. К. Трофимович, Ф. В. Старак, М. О. Онышкевич) активно участвуют в собирании диалектного материала для диалектологического атласа украинского языка.

ПАМЯТИ Л. А. БУЛАХОВСКОГО

Со смертью Леонида Арсеньевича Булаховского ушел из нашей немногочисленной семьи славистов человек яркой творческой индивидуальности, необыкновенного трудолюбия, привлекательных личных качеств. Необходимо еще некоторое время, чтобы спокойно и всесторонне оценить вклад ученого в отечественную науку о славянских языках. Однако уже и сейчас для всех нас очевидно, что вклад этот был велик.

Значительными были достижения Л. А. в области славянской акцентологии. Его имя стоит рядом с именами самых крупных акцентологов прошлого и настоящего. Интерес к истории количества и ударения Л. А. пронес через всю свою творческую жизнь. В 1910 г. была опубликована его первая статья „К вопросам славянского количества и ударения“ (РФВ., т. LXIII). А в конце 1960 г. Л. А. обещал мне прислать для „Сербо-лужицкого лингвистического сборника“ статью об отражении праславянских интонаций в мужаковском говоре восточно-лужицкого наречия (по материалам Л. В. Щербы). Между этими двумя датами — 50 лет напряженного труда исследователя славянского ударения, труда материализованного в большом числе монографий, статей и рецензий, посвященных истории акцентологических систем почти всех славянских языков.

Л. А. Булаховский обработал огромный материал по всем восточнославянским языкам и пустил в научный оборот множество новых фактов, извлеченных им из памятников восточнославянской письменности и диалектных текстов. Не будучи полевым диалектологом, Л. А., однако, производил наблюдения над болгарскими говорами Крыма для изучения истории болгарского ударения. Его капитальный обобщающий труд по истории болгарской акцентологической системы был опубликован нашим институтом в 1959 г. В исследованиях истории западнославянской интонации и ударения Л. А. опирался на чужой материал, но и здесь сделал ряд важных наблюдений как для истории ударения и количества в отдельных языках, так и для реконструкции праславянской акцентологической системы. Особое внимание уделял Л. А. явлениям метатонии, истории нового акута и нового циркумфлекса как в праславянском, так и в отдельных славянских языках. Он всесторонне изучил следы нового акута в украинском языке и убедительно объяснил много запутанных и противоречивых фактов. Следует специально упомянуть труды Л. А. по истории ударения в русском литературном языке, сделанные на основе глубокого изучения языка русской поэзии.

Занимаясь изучением истории ударения и количества, Л. А. часто сталкивался с фактами грамматической аналогии. Отсюда уже специальный интерес к этому грамматическому явлению, которому ученый посвятил много сил и времени. В общем списке работ Л. А. исследования по вопросам грамматической аналогии занимают большое место.

И в этих работах автор демонстрирует большую эрудицию и умение вскрывать за мелкими фактами из самых различных славянских диалектов общие тенденции развития.

Постоянно привлекали внимание Л. А. проблемы лексикологии и семасиологии. Еще в 1928 г. он опубликовал две очень ценные статьи по вопросам омонимии в славянских языках, подняв впервые ряд важных проблем славянского языкознания. К сожалению, в этом направлении сделано до сих пор еще очень мало. Уже после войны Л. А. опубликовал серию семасиологических этюдов, посвященных славянским названиям птиц, большое исследование фактов деэтимологизации в русском языке и др. В 1952 г. вышло в свет руководство Л. А. по общему языкознанию, трактующее только проблемы семасиологии и лексикологии. Не представляя большого интереса в методологическом отношении, это руководство принесло, однако, известную пользу, так как содержит новый и интересный материал из различных славянских языков.

Л. А. всегда живо интересовался проблемами происхождения и истории славянских литературных языков. В последние годы он опубликовал несколько работ о происхождении украинского языка, обобщив их в монографии „Питання походження української мови“ (1956).

Большое место в наследии Л. А. занимают учебники и учебные пособия по русскому языку. В них обобщен богатый опыт профессора, читавшего в течение многих лет различные курсы по русскому языкознанию в Харьковском, а после войны в Киевском университетах. Изданные на Украине, эти учебники получили широкое распространение по всей стране.

Много внимания уделял Л. А. практическим вопросам языкового строительства на Украине. Он принимал самое деятельное участие в реформировании украинского правописания, писал о языке не только для высшей, но и для средней школы, участвовал в учительских конференциях, большую помощь оказывал Наркомпросу УССР, а позже Министерству просвещения УССР в организации преподавания украинского и русского языков в школе.

Я познакомился впервые с Л. А. в конце 1935 г. в Одессе, где происходила Всеукраинская конференция языковедов педагогических институтов. На этой конференции Л. А. выступил с докладом о принципах построения курса истории русского языка. В памяти остались его резкие критические замечания по адресу тех немногочисленных историков русского языка, которые тогда пытались в своих лекциях использовать новое учение о языке акад. Марра. И позже Л. А. неоднократно смело выступал против марризма.

Л. А. был смелым и принципиальным советским ученым, врагом всякой рутины, питал глубокое отвращение к чванству ученых вельмож, к лести, к низкопоклонству, любил молодежь и уделял много внимания воспитанию молодых ученых. Многие украинские лингвисты являются его непосредственными учениками. Л. А. внимательно следил за развитием новых идей в языкознании. Он сочувственно относился к стремлениям многих современных языковедов использовать методы и приемы точных наук.

С. Б. Бернштейн

Э. А. ЯКУБИНСКАЯ-ЛЕМБЕРГ

16 мая 1961 г. после продолжительной болезни на 66 году жизни скончалась заведующая кафедрой славянской филологии Ленинградского государственного ордена Ленина университета Эрика Антоновна Якубинская-Лемберг.

Э. А. Якубинская была крупным специалистом в области славянских и финно-угорских языков, сравнительной грамматики этих языков, а особенно — в области славянской акцентологии. Около 40 лет продолжалась ее плодотворная научная и педагогическая деятельность.

В 1921 г. Э. А. Якубинская окончила факультет общественных наук Петроградского университета и была оставлена в аспирантуре при кафедре славянских языков. С 1922 г. при Институте литературы и языков Запада и Востока начинается ее научная деятельность под руководством видного слависта М. Г. Долобоко.

Здесь в 1926 г. Э. А. Якубинская закончила и защитила в качестве диссертации свое первое большое исследование «К вопросу об отражении праязыковых конечных дифтонгов **ai*, **oi* на славянской почве», которое в 1927 г. было опубликовано в журнале «Язык и литература». Эта работа показала глубокое знание автором языкового материала, уверенное владение сравнительно-историческим методом и была с признанием встречена советскими и зарубежными славистами. С тех пор вопросы изучения славянских языков, их истории постоянно находились в центре научных интересов Э. А. Якубинской. Вопрос о славяно-финских языковых отношениях, сравнительно-исторический метод и изучение истории языка, развитие и употребление кратких и полных прилагательных, образование форм среднего рода в славянских языках, этимология отдельных общеславянских слов, вопросы создания научной грамматики болгарского языка — вот лишь некоторые из проблем, которые интересовали Э. А. Якубинскую и по которым ею опубликованы ценные и интересные исследования. Кроме того, она осуществила научную редакцию учебника болгарского языка для вузов, сборника «Славянское языкознание» и других славистических изданий.

Одновременно Э. А. Якубинская вела большую работу по исследованию финно-угорских языков, методики преподавания русского языка в национальных школах, работу по оказанию помощи национальным республикам в создании литературных языков и составлении учебных пособий. Э. А. Якубинская консультировала многих научных работников, приезжавших к ней за помощью и советом из национальных республик, принимала участие в работе конференций по выработке норм эрзя и мокша литературных языков, по упорядочению орфографии карельского языка. Она является автором букваря и учебника русского языка для эстонских школ, одним из составителей малого эстонско-русского словаря. Э. А. Якубинской написано несколько интересных

исследований по истории эстонского, грамматике эрзя-мордовского и других финно-угорских языков; она редактировала переводы, создавала программы, печатала рецензии и т. п.

С 1922 по 1937 г. Э. А. Якубинская работала в Институте литературы и языков Запада и Востока, с 1937 по 1948 г. — в Институте языка и мышления. Годы Великой Отечественной войны Э. А. Якубинская провела в Ленинграде, являясь уполномоченным дирекции Института языка и мышления по охране имущества и ценностей института. Одновременно она работала в одной из военных организаций. За образцовое выполнение заданий командования и за самоотверженную работу в осажденном Ленинграде Э. А. Якубинская была награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». С 1952 по 1954 г. она работала в Институте славяноведения АН СССР.

С 1928 г. началась научно-педагогическая деятельность Э. А. Якубинской в вузах: сначала в Педагогическом институте им. А. И. Герцена, а с 1938 г. — в Ленинградском университете. За многие годы работы она подготовила сотни молодых специалистов; в Ленинграде, Москве, Петрозаводске, Вильнюсе, Петропавловске-на-Камчатке, Будапеште, Берлине, Бухаресте и во многих других городах работают сейчас ее питомцы.

Особенно напряженную научную, педагогическую и организационную работу вела Э. А. Якубинская в Ленинградском университете, где она с 1938 г. руководила кафедрой финно-угорских языков, а с 1944 г. до конца жизни возглавляла сначала кафедру славянских языков, затем — кафедру славянской филологии. Ею были разработаны и читались курсы сравнительной грамматики славянских языков, старославянского языка, истории и теоретической грамматики сербохорватского языка, истории эстонского языка, ряд новых спецкурсов и спецсеминаров. В качестве заведующей кафедрой Э. А. Якубинская вела большую методическую и организационную работу. Она была душой коллектива кафедры, не жалела сил и времени для оказания помощи молодым преподавателям, чутко откликалась на запросы и нужды студентов. Необычайной теплотой и душевной щедростью отличалось отношение Э. А. Якубинской к своим ученикам, проходившим под ее руководством аспирантскую подготовку по сербохорватскому, чешскому и польскому языкам. Товарищи по работе знали Э. А. Якубинскую и как принципиального коммуниста, с молодым энтузиазмом поддерживавшего каждое полезное начинание на кафедре и на факультете.

Смерть застигла ее в расцвете творческих сил. В последнее время Э. А. Якубинская работала над подготовкой к печати курса лекций по сравнительной грамматике славянских языков и отдельных разделов курса по старославянскому языку. Ею был собран и расклассифицирован богатый материал для исследования по истории прилагательных и числительных в славянских языках. Все эти замыслы остались неосуществленными. 16 мая 1961 г. наша наука потеряла ценного ученого, а филологический факультет Ленинградского университета — прекрасного воспитателя молодежи и замечательного товарища.

П. А. Дмитриев, В. С. Золотова, Г. А. Лилич

М. А. ГАДОЛИНА

7 октября 1962 г. трагически оборвалась жизнь научного сотрудника Института славяноведения АН СССР Маргариты Анатольевны Гадониной.

М. А. Гадолина родилась 15 августа 1926 г. Окончив Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, она поступила в аспирантуру Института русского языка АН СССР, выбрав своей специальностью историю и диалектологию русского языка. М. А. Гадолина посвятила свою кандидатскую диссертацию истории личных и возвратного местоимений в русском языке. Под руководством Р. И. Аванесова она разработала эту тему на большом конкретном материале, насытила работу тонкими лингвистическими наблюдениями и дала ряд новых решений основных проблем истории личных и возвратного местоимений в русском языке.

Диссертация М. А. Гадониной была опубликована в «Трудах Института языкознания» (т. V, 1952) и получила высокую оценку в советской и зарубежной печати.

Окончив аспирантуру, М. А. Гадолина включилась в работу коллектива сектора славянского языкознания Института славяноведения АН СССР, исследовавшего под руководством С. Б. Бернштейна историю творительного падежа в славянских языках. В этом труде М. А. Гадониной принадлежат разделы о творительном ограничении и творительном приименном (см. «Творительный падеж в славянских языках». М., 1958, стр. 201—222, 289—313).

Работа над вопросами истории творительного падежа свидетельствовала о том, что круг научных интересов М. А. Гадониной расширяется, от русистики она переходит к сравнительно-историческому изучению славянских языков.

В дальнейшем, хорошо зная историю и диалектологию славянских языков, прекрасно владея методом сравнительно-исторического анализа, М. А. Гадолина успешно работала как славист широкого профиля. В монографии М. А. Гадониной «История личных и возвратного местоимений в славянских языках», находящейся сейчас в печати, дан глубокий сравнительно-исторический анализ одной из мало изученных грамматических категорий.

Горько сознавать, что первая книга молодого талантливого ученого выйдет уже посмертно.

Жизнерадостная, необыкновенно отзывчивая, трудолюбивая, требовательная к себе и другим, М. А. Гадолина была человеком большой душевной щедрости. Все, кто знал Маргариту Анатольевну, искренне любили ее, дорожили ее дружбой и навсегда сохранят память о ней.

Л. Э. Калнынь

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

А. А. Зализняк (Москва). О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами	3
П. Трост (Прага). Супин в балтийских и славянских языках	23
В. Н. Топоров (Москва). Хеттская SALŠU.GI и славянская баба-яга	28
В. П. Гудков (Москва). Параллель из истории форм будущего времени в сербскохорватском и русском языках	38
Г. П. Клепикова (Москва). К истории некоторых именных и глагольных форм в болгарском языке	46

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Л. Н. Смирнов (Москва). Вклад П. Й. Шафарика в славянское языкознание	55
С. Б. Бернштейн (Москва). Любомир Милетич	68

РЕЦЕНЗИИ

И. А. Даендзелевский (Ужгород) Z. Stieber. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, zesz. I—V. Łódź, 1956—1961.	71
П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов (Ленинград). О новых правилах правописания сербохорватского языка	80
Р. П. Усикова (Москва) «Un lexique macédonien du XVI siècle par Giro Giannelli avec la collaboration de André Vaillant». Paris, Institut d'Etudes de l'université de Paris, 1958, 71 стр.	87

ХРОНИКА

Г. И. Сафронов (Ленинград). На кафедре славянской филологии Ленинградского университета	89
В. И. Масальский (Киев). О научно-педагогической работе кафедры славянской филологии Киевского университета	92
М. О. Онышkevич (Львов). Научная работа на кафедре славянской филологии Львовского университета	96
Памяти Л. А. Булаховского	98
Э. А. Якубинская-Лемберг 	100
М. А. Гадолина 	102

